КНИГИ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

Александр Грин

АЛЫЕ ПАРУСА

Рассказы



#эксмодетство

Алые паруса. Рассказы

Александр Степанович Грин

Аннотация
Александр Грин. Алые паруса. Рассказы
Алые паруса
  Глава I. Предсказание
  Глава II. Грэй
  Глава III. Рассвет
  Глава IV. Накануне
  Глава V. Боевые приготовления
  Глава VI. Ассоль остаётся одна
  Глава VII. Алый «секрет»
Фанданго
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
Зелёная лампа

I
II
Вклейка

Аннотация

сборник произведений Александра Грина вошли широко известная повесть «Алые паруса», также рассказы «Фанданго» и «Зелёная лампа». Для прозы Грина характерно переплетение реальности и вымысла, богатая фантазия и романтизм. Читатель вместе с героями этих произведений переживает и утраты, и радость, а самое главное – никогда не расстаётся с надеждой на лучшее. Повесть и рассказы входят в школьную программу.

Александр Грин
Алые паруса. Рассказы

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

* * *

Алые паруса

Нине Николаевне Грин подносит и посвящает

Автор.

Пбг. 23 ноября 1922 г.

Глава I
Предсказание

Лонгрен, матрос «Ориона», крепкого трёхсоттонного брига[1], на котором он прослужил десять лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был наконец покинуть службу.

Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой он не увидел, как всегда ещё издали, на пороге дома свою жену Мери, всплёскивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо неё у детской кроватки — нового предмета в маленьком доме Лонгрена — стояла взволнованная соседка.

— Три месяца я ходила за нею, старик, — сказала она, — посмотри на свою дочь.

Мертвея, Лонгрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя.

— Когда умерла Мери? — спросил он.

---

[1] Notes: 1

Бриг — двухмачтовое парусное судно с прямым парусным вооружением на обеих мачтах.

Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканием девочке и уверениями, что Мери в раю. Когда Лонгрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы — будь теперь они все вместе, втроём — был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой.

Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лонгреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорождённой; наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила Мери попросить в долг денег у Меннерса. Меннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком.

Мери пошла к нему в шесть часов вечера. Около семи рассказчица встретила её на дороге к Лиссу. Заплаканная и расстроенная Мери сказала, что идёт в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Меннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мери ничего не добилась.

— У нас в доме нет даже крошки съестного, — сказала она соседке. — Я схожу в город, и мы

с девочкой перебьёмся как-нибудь до возвращения мужа.

В этот вечер была холодная, ветреная погода; рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в Лисс к ночи: «Ты промокнешь, Мери, накрапывает дождь, а ветер, того и гляди, принесёт ливень».

Взад и вперёд от приморской деревни в город составляло не менее трёх часов скорой ходьбы, но Мери не послушалась советов рассказчицы. «Довольно мне колоть вам глаза, — сказала она, — и так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено». Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду; непогода и вечерняя изморось сразила её двухсторонним воспалением лёгких, как сказал городской врач, вызванный добросердной рассказчицей. Через неделю на двуспальной кровати Лонгрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было не трудно. К тому же, прибавила она, без такого несмышлёныша скучно.

Лонгрен поехал в город, взял расчёт, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твёрдо ходить, вдова

жила у матроса, заменяя сиротке мать, но лишь только Ассоль перестала падать, занося ножку через порог, Лонгрен решительно объявил, что теперь он будет сам всё делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе.

Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки — искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов — словом, того, что он близко знал, что, в силу характера работы, отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лонгрен добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он после смерти жены стал ещё замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам: «да», «нет», «здравствуйте», «прощай», «помаленьку» — на все обращения и кивки со-

седей. Гостей он не выносил, тихо спроваживая их не силой, но такими намёками и вымышленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше.

Сам он тоже не посещал никого; таким образом меж ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лонгрена — игрушки — менее независима от дел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе — Меннерс не мог бы похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лонгреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство ращения девочки.

Ассоль было уже пять лет, и отец начинал всё мягче и мягче улыбаться, посматривая на её нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застёгнутого жилета или забавно напевала матросские песни — дикие ревостишия[2]. В передаче детским голосом и не везде с буквой «р» эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенно-

[2] Notes: 2
Ревостишия — словообразование А. С. Грина.

го голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь.

Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к холодной земле резкий береговой норд.

Рыбачьи лодки, повытащенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд тёмных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом; холодный вихрь, нёсшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал «открытый воздух» суровой пыткой. Все трубы Каперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам.

Но эти дни норда выманивали Лонгрена из его маленького тёплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и Каперну покрывалами воздушного золота. Лонгрен выходил на мостик, настланный по длинным рядам свай, где, на самом конце этого дощатого мола, подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря, как обнажённое у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающей за валами, грохочущий

бег которых к чёрному, штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далёкому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлётов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность, — так силён был его ровный пробег, — давали измученной душе Лонгрена ту притуплённость, оглушённость, которая, низводя горе к смутной печали, равна действием глубокому сну.

В один из таких дней двенадцатилетний сын Меннерса, Хин, заметив, что отцовская лодка бьётся под мостками о сваи, ломая борта, пошёл и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно; Меннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола спиной к нему стоявшего, куря, Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Меннерс прошёл по мосткам до середины, спустился в бешено плещущую воду и отвязал шкот; стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Вёсла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана.

Теперь даже всей длиной тела Меннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Меннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость валов обещали верную смерть. Меж Лонгреном и Меннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше десяти сажен ещё спасительного расстояния, так как на мостках под рукой у Лонгрена висел свёрток каната с вплетённым в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков.

— Лонгрен! — закричал смертельно перепуганный Меннерс. — Что же ты стал, как пень? Видишь, меня уносит; брось причал!

Лонгрен молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Меннерса, только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул её изо рта, чтобы лучше видеть происходящее.

— Лонгрен! — взывал Меннерс. — Ты ведь слышишь меня, я погибаю, спаси!

Но Лонгрен не сказал ему ни одного слова; казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока

не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова-крики Меннерса, он не переступил даже с ноги на ногу. Меннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями, но Лонгрен только подошёл ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из вида метания и скачки лодки. «Лонгрен, — донеслось к нему глухо, как с крыши — сидящему внутри дома, — спаси!» Тогда, набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лонгрен крикнул:

— Она так же просила тебя! Думай об этом, пока ещё жив, Меннерс, и не забудь!

Тогда крики умолкли, и Лонгрен пошёл домой. Ассоль, проснувшись, увидела, что отец сидит пред угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошёл к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом.

— Спи, милая, — сказал он, — до утра ещё далеко.

— Что ты делаешь?

— Чёрную игрушку я сделал, Ассоль, — спи!

На другой день только и разговоров было у жителей Каперны что о пропавшем Меннерсе, а на

шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носило Меннерса; разбитый сотрясениями о борта и дно лодки, за время страшной борьбы с свирепостью волн, грозивших, не уставая, выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран пароходом «Лукреция», шедшим в Кассет. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Меннерса. Он прожил немного менее сорока восьми часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Меннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, поразил жителей Каперны. Не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбление и более тяжкое, чем перенесённое Лонгреном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мери, — им было отвратительно, непонятно, поражало их, что Лонгрен молчал. Молча, до своих последних слов, посланных вдогонку Меннерсу, Лонгрен стоял; стоял неподвижно, строго и тихо, как судья, высказав глубокое презрение к Меннерсу — большее, чем ненависть, было в его молчании, и это все чувствовали. Если бы он кричал, выражая жеста-

ми, или суетливостью злорадства, или ещё чем иным своё торжество при виде отчаяния Меннерса, рыбаки поняли бы его, но он поступил иначе, чем поступали они, — поступил внушительно, непонятно и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел; мальчишки, завидев его, кричали вдогонку: «Лонгрен утопил Меннерса!» Он не обращал на это внимания. Так же, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу, среди лодок, рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумлённого. Случай с Меннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Ассоль.

Девочка росла без подруг. Два-три десятка детей её возраста, живших в Каперне, пропитанной, как губка водой, грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, переимчивые, как все дети в мире, вычеркнули раз навсегда маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется, постепенно,

путём внушения и окриков взрослых приобрело характер страшного запрета, а затем, усиленное пересудами и кривотолками, разрослось в детских умах страхом к дому матроса.

К тому же замкнутый образ жизни Лонгрена освободил теперь истерический язык сплетни; про матроса говаривали, что он где-то кого-то убил, оттого, мол, его больше не берут служить на суда, а сам он мрачен и нелюдим, потому что «терзается угрызениями преступной совести». Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец её ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой наивные её попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями общественного мнения; она перестала, наконец, оскорбляться, но всё ещё иногда спрашивала отца: «Скажи, почему нас не любят?» — «Э, Ассоль, — говорил Лонгрен, — разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут». — «Как это — уметь?» — «А вот так!» Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия.

Любимым развлечением Ассоль было по вече-

рам или в праздник, когда отец, отставив банки с клейстером, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть, с трубкой в зубах, — забраться к нему на колени и, вертясь в бережном кольце отцовской руки, трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Так начиналась своеобразная фантастическая лекция о жизни и людях — лекция, в которой, благодаря прежнему образу жизни Лонгрена, случайностям, случаю вообще, — диковинным, поразительным и необыкновенным событиям отводилось главное место. Лонгрен, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и т. п., а от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действительность — в образы своей фантазии. Тут появлялась и тигровая кошка, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой значило

сбиться с курса, и Летучий Голландец[3] с неистовым своим экипажем; приметы, привидения, русалки, пираты — словом, все басни, коротающие досуг моряка в штиле или излюбленном кабаке. Рассказывал Лонгрен также о потерпевших крушение, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем, может быть, слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. «Ну, говори ещё», — просила Ассоль, когда Лонгрен, задумавшись, умолкал, и засыпала на его груди с головой, полной чудесных снов.

Также служило ей большим, всегда материально существенным удовольствием появление приказчика городской игрушечной лавки, охотно покупавшей работу Лонгрена. Чтобы задобрить отца и выторговать лишнее, приказчик захватывал с собой для девочки пару яблок, сладкий пирожок, горсть орехов. Лонгрен обыкновенно просил настоящую стоимость из нелюбви к торгу, а приказчик сбавлял. «Эх, вы, — говорил Лонгрен, — да я неделю сидел над этим ботом. — Бот

---

[3] Notes: 3

Летучий Голландец — в морских преданиях — корабль-призрак, покинутый экипажем или с экипажем из мертвецов, как правило, предвестник беды.

был пятивершковый. — Посмотри, что за прочность, — а осадка, а доброта? Бот этот пятнадцать человек выдержит в любую погоду». Кончалось тем, что тихая возня девочки, мурлыкавшей над своим яблоком, лишала Лонгрена стойкости и охоты спорить; он уступал, а приказчик, набив корзину превосходными, прочными игрушками, уходил, посмеиваясь в усы.

Всю домовую работу Лонгрен исполнял сам: колол дрова, носил воду, топил печь, стряпал, стирал, гладил бельё и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда Ассоль исполнилось восемь лет, отец выучил её читать и писать. Он стал изредка брать её с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось не часто, хотя Лисс лежал всего в четырёх верстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но всё-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни, утром, когда окружающая дорогу чаща полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, так что впечатлительности Ассоль не грозили фантомы воображения, Лон-

грен отпускал её в город.

Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки; из них две-три оказались новинкой для неё: Лонгрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой; белое судёнышко это несло алые паруса, сделанные из обрезков шёлка, употреблявшегося Лонгреном для оклейки пароходных кают — игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашёл подходящего материала на паруса, употребив что было — лоскутки алого шёлка. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный весёлый цвет так ярко горел в её руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей, с переброшенным через него жердяным мостиком; ручей справа и слева уходил в лес. «Если я спущу её на воду поплавать немного, — размышляла Ассоль, — она ведь не промокнет, я её потом вытру». Отойдя в лес за мостик, по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее её судно; паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде: свет, пронизывая материю, лёг дрожащим розовым излучением

на белых камнях дна. «Ты откуда приехал, капитан? — важно спросила Ассоль воображённое лицо и, отвечая сама себе, сказала: — Я приехал… приехал… приехал я из Китая. — А что ты привёз? — Что привёз, о том не скажу. — Ах, ты так, капитан! Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзину». Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого: ручей казался девочке огромной рекой, а яхта — далёким, большим судном, к которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки. «Капитан испугался», — подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что её где-нибудь прибьёт к берегу. Поспешно таща не тяжёлую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила: «Ах, господи! Ведь случись же» Она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала.

Ассоль никогда не бывала так глубоко в лесу, как теперь. Ей, поглощённой нетерпеливым

желанием поймать игрушку, не смотрелось по сторонам; возле берега, где она суетилась, было довольно препятствий, занимавших внимание. Мшистые стволы упавших деревьев, ямы, высокий папоротник, шиповник, жасмин и орешник мешали ей на каждом шагу; одолевая их, она постепенно теряла силы, останавливаясь всё чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись, в более широких местах, осоковые и тростниковые заросли, Ассоль совсем было потеряла из вида алое сверкание парусов, но, обежав излучину течения, снова увидела их, степенно и неуклонно бегущих прочь. Раз она оглянулась, и лесная громада с её пестротой, переходящей от дымных столбов света в листве к тёмным расселинам дремучего сумрака, глубоко поразила девочку. На мгновение оробев, она вспомнила вновь об игрушке и, несколько раз выпустив глубокое «ф-фу-у-у», побежала изо всех сил.

В такой безуспешной и тревожной погоне прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край жёлтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от уста-

лости. Здесь было устье ручья; разлившись нешироко и мелко, так что виднелась струящаяся голубизна камней, он пропадал в встречной морской волне. С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья, на плоском большом камне, спиной к ней, сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает её с любопытством слона, поймавшего бабочку. Отчасти успокоенная тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, воззрилась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он подымет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть ещё ни разу не приходилось.

Но перед ней был не кто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы; серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника; белый воротничок, галстук, пояс, унизанный серебром блях, трость и сумка с новеньким никелевым замочком — выказывали горожанина. Его лицо,

если можно назвать лицом нос, губы и глаза, выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды и пышных, свирепо взрогаченных вверх усов, казалось бы вяло-прозрачным, если бы не глаза, серые как песок и блестящие как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным.

— Теперь отдай мне, — несмело сказала девочка. — Ты уже поиграл. Ты как поймал её?

Эгль поднял голову, уронив яхту, — так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуту разглядывал её, улыбаясь и медленно пропуская бороду в большой, жилистой горсти. Стиранное много раз ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие, загорелые ноги девочки. Её тёмные густые волосы, забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полёт ласточки. Тёмные, с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица; его неправильный мягкий овал был овеян того рода прелестным загаром, какой присущ здоровой белизне кожи. Полураскрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой.

— Клянусь Гриммами, Эзопом и Андерсеном, — сказал Эгль, посматривая то на девочку, то на яхту. — Это что-то особенное. Слушай-ка ты,

растение! Это твоя штука?

— Да, я за ней бежала по всему ручью; я думала, что умру. Она была тут?

— У самых моих ног. Кораблекрушение причиной того, что я, в качестве берегового пирата, могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок трёхвершковым валом — между моей левой пяткой и оконечностью палки. — Он стукнул тростью. — Как зовут тебя, крошка?

— Ассоль, — сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку.

— Хорошо, — продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз, в глубине которых поблёскивала усмешка дружелюбного расположения духа. — Мне, собственно, не надо было спрашивать твоё имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины: что бы я стал делать, называйся ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имён, которые чужды Прекрасной Неизвестности? Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живёшь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов…

как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты… Такая как есть. Я, милая, поэт в душе — хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?

— Лодочки, — сказала Ассоль, встряхивая корзинкой, — потом пароход да ещё три таких домика с флагами. Там солдаты живут.

— Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой. Ты пустила яхту поплавать, а она сбежала — ведь так?

— Ты разве видел? — с сомнением спросила Ассоль, стараясь вспомнить, не рассказала ли она это сама. — Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?

— Я это знал.

— А как же?

— Потому что я — самый главный волшебник.

Ассоль смутилась; её напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина, томительное приключение с яхтой, непонятная речь старика с сверкающими глазами, величественность его бороды и волос стали казаться девочке смешением сверхъестественного с действительностью. Сострой теперь Эгль гримасу или закричи что-нибудь — девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгль, заметив, как ши-

роко раскрылись её глаза, сделал крутой вольт.

— Тебе нечего бояться меня, — серьёзно сказал он. — Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе. — Тут только он уяснил себе, что́ в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением. «Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы, — решил он. — Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет». — Ну-ка, — продолжал Эгль, стараясь закруглить оригинальное положение (склонность к мифотворчеству — следствие всегдашней работы — была сильнее, чем опасение бросить на неизвестную почву семена крупной мечты), — ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идёшь; словом, в Каперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом… Стой, я сбился. Я заговорю снова.

Подумав, он продолжал так:

— Не знаю, сколько пройдёт лет, — только в Каперне расцветёт одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнёт алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов; на берегу много соберётся народу, удивляясь и ахая; и ты будешь стоять там. Корабль подойдёт величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки; нарядная, в коврах, в золоте и цветах, поплывёт от него быстрая лодка. «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» — спросят люди на берегу. Тогда ты увидишь храброго красивого принца; он будет стоять и протягивать к тебе руки. «Здравствуй, Ассоль! — скажет он. — Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в своё царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет всё, что только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слёз и печали». Он посадит тебя в лодку, привезёт на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звёзды спустятся с неба, чтобы поздравить

тебя с приездом.

— Это всё мне? — тихо спросила девочка. Её серьёзные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так; она подошла ближе. — Может быть, он уже пришёл… тот корабль?

— Не так скоро, — возразил Эгль, — сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом… Что говорить? — Это будет, и кончено. Что бы ты тогда сделала?

— Я? — Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением. — Я бы его любила, — поспешно сказала она и не совсем твёрдо прибавила: — если он не дерётся.

— Нет, не будет драться, — сказал волшебник, таинственно подмигнув, — не будет, я ручаюсь за это. Иди, девочка, и не забудь того, что сказал тебе я меж двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди. Да будет мир пушистой твоей голове!

Лонгрен работал в своём маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел Ассоль, стремглав бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом.

— Ну, вот… — сказала она, силясь овладеть

дыханием, и ухватилась обеими руками за передник отца. — Слушай, что я тебе расскажу… На берегу, там, далеко, сидит волшебник…

Она начала с волшебника и его интересного предсказания. Горячка мыслей мешала ей плавно передать происшествие. Далее шло описание наружности волшебника и — в обратном порядке — погоня за упущенной яхтой.

Лонгрен выслушал девочку, не перебивая, без улыбки, и, когда она кончила, воображение быстро нарисовало ему неизвестного старика с ароматической водкой в одной руке и игрушкой в другой. Он отвернулся, но, вспомнив, что в великих случаях детской жизни подобает быть человеку серьёзным и удивлённым, торжественно закивал головой, приговаривая:

— Так, так; по всем приметам, некому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть… Но ты, когда пойдёшь снова, не сворачивай в сторону; заблудиться в лесу нетрудно.

Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась ещё прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили её в сон. Глаза её слипались, голова опустилась на твёрдое отцовское плечо, мгнове-

ние — и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, Ассоль села прямо, с закрытыми глазами и, упираясь кулачками в жилет Лонгрена, громко сказала:

— Ты как думаешь, придёт волшебниковый корабль за мной или нет?

— Придёт, — спокойно ответил матрос, — раз тебе это сказали, значит, всё верно.

«Вырастет, забудет, — подумал он, — а пока… не стоит отнимать у тебя такую игрушку. Много ведь придётся в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов: издали — нарядных и белых, вблизи — рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж! Добрая шутка! Ничего — шутка! Смотри, как сморило тебя, — полдня в лесу, в чаще. А насчёт алых парусов думай, как я: будут тебе алые паруса».

Ассоль спала. Лонгрен, достав свободной рукой трубку, закурил, и ветер пронёс дым сквозь плетень в куст, росший с внешней стороны огорода. У куста, спиной к забору, прожёвывая пирог, сидел молодой нищий. Разговор отца с дочерью привёл его в весёлое настроение, а запах хорошего табаку настроил добычливо.

— Дай, хозяин, покурить бедному человеку, —

сказал он сквозь прутья. — Мой табак против твоего не табак, а, можно сказать, отрава.

— Я бы дал, — вполголоса ответил Лонгрен, — но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, не хочется будить дочку.

— Вот беда! Проснётся, опять уснёт, а прохожий человек взял да и покурил.

— Ну, — возразил Лонгрен, — ты не без табаку всё-таки, а ребёнок устал. Зайди, если хочешь, попозже.

Нищий презрительно сплюнул, вздел на палку мешок и съязвил:

— Принцесса, ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли! Эх ты, чудак-чудаковский, а ещё хозяин!

— Слушай-ка, — шепнул Лонгрен, — я, пожалуй, разбужу её, но только затем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошёл вон!

Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков. Сзади их, то дёргая мужей за рукав, то снимая через их плечо стакан с водкой, — для себя, разумеется, — сидели рослые женщины с густыми бровями и руками круглыми, как булыжник. Нищий, вскипая обидой, повествовал:

— И не дал мне табаку. «Тебе, — говорит, — ис-

полнится совершеннолетний год, а тогда, — говорит, — специальный красный корабль… За тобой. Так как твоя участь выйти за принца. И тому, — говорит, — волшебнику — верь». Но я говорю: «Буди, буди, мол, табаку-то достать». Так ведь он за мной полдороги бежал.

— Кто? Что? О чём толкует? — слышались любопытные голоса женщин. Рыбаки, еле поворачивая головы, растолковывали с усмешкой:

— Лонгрен с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке; вот человек рассказывает. Колдун был у них, так понимать надо. Они ждут — тётки, вам бы не прозевать! — заморского принца, да ещё под красными парусами!

Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Ассоль услышала в первый раз:

— Эй, висельница! Ассоль! Посмотри-ка сюда! Красные паруса плывут!

Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на разлив моря. Затем обернулась в сторону восклицаний; там, в двадцати шагах от неё, стояла кучка ребят; они гримасничали, высовывая языки. Вздохнув, девочка побежала домой.

Глава II
Грэй

Если Цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, то Артур Грэй мог не завидовать Цезарю в отношении его мудрого желания. Он родился капитаном, хотел быть им и стал им.

Огромный дом, в котором родился Грэй, был мрачен внутри и величествен снаружи. К переднему фасаду примыкали цветник и часть парка. Лучшие сорта тюльпанов — серебристо-голубых, фиолетовых и чёрных с розовой тенью — извивались в газоне линиями прихотливо брошенных ожерелий. Старые деревья парка дремали в рассеянном полусвете над осокой извилистого ручья. Ограда замка, так как это был настоящий замок, состояла из витых чугунных столбов, соединённых железным узором. Каждый столб оканчивался наверху пышной чугунной лилией; эти чаши по торжественным дням наполнялись маслом, пылая в ночном мраке обширным огненным строем.

Отец и мать Грэя были надменные невольники

своего положения, богатства и законов того общества, по отношению к которому могли говорить «мы». Часть их души, занятая галереей предков, мало достойна изображения, другая часть — воображаемое продолжение галереи — начиналась маленьким Грэем, обречённым по известному, заранее составленному плану прожить жизнь и умереть так, чтобы его портрет мог быть повешен на стене без ущерба фамильной чести. В этом плане была допущена небольшая ошибка: Артур Грэй родился с живой душой, совершенно несклонной продолжать линию фамильного начертания.

Эта живость, эта совершенная извращённость мальчика начала сказываться на восьмом году его жизни; тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, т. е. человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную — роль провидения, намечался в Грэе ещё тогда, когда, приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображавшую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, т. е. попросту замазал их голубой краской, похищенной у маляра. В таком виде он находил картину более сносной. Увлечённый своеобразным занятием, он начал

уже замазывать и ноги распятого, но был застигнут отцом. Старик снял мальчика со стула за уши и спросил:

— Зачем ты испортил картину?

— Я не испортил.

— Это работа знаменитого художника.

— Мне всё равно, — сказал Грэй. — Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу.

В ответе сына Лионель Грэй, скрыв под усами улыбку, узнал себя и не наложил наказания.

Грэй неутомимо изучал замок, делая поразительные открытия. Так, на чердаке он нашёл стальной рыцарский хлам, книги, переплетённые в железо и кожу, истлевшие одежды и полчища голубей. В погребе, где хранилось вино, он получил интересные сведения относительно лафита, мадеры, хереса. Здесь, в мутном свете остроконечных окон, придавленных косыми треугольниками каменных сводов, стояли маленькие и большие бочки; самая большая, в форме плоского круга, занимала всю поперечную стену погреба, столетний тёмный дуб бочки лоснился как отшлифованный. Среди бочонков стояли в плетёных корзинках пузатые бутыли зелёного и синего стекла. На камнях и на земляном

полу росли серые грибы с тонкими ножками; везде — плесень, мох, сырость, кислый, удушливый запах. Огромная паутина золотилась в дальнем углу, когда, под вечер, солнце высматривало её последним лучом. В одном месте было зарыто две бочки лучшего Аликанте, какое существовало во время Кромвеля[4], и погребщик, указывая Грэю на пустой угол, не упускал случая повторить историю знаменитой могилы, в которой лежал мертвец, более живой, чем стая фокстерьеров. Начиная рассказ, рассказчик не забывал попробовать, действует ли кран большой бочки, и отходил от него, видимо, с облегчённым сердцем, так как невольные слёзы чересчур крепкой радости блестели в его повеселевших глазах.

— Ну, вот что, — говорил Польдишок Грэю, усаживаясь на пустой ящик и набивая острый нос табаком, — видишь ты это место? Там лежит такое вино, за которое не один пьяница дал бы согласие вырезать себе язык, если бы ему позволили хватить небольшой стаканчик. В каждой бочке сто литров вещества, взрывающего душу и превращающего тело в неподвижное тесто. Его цвет темнее вишни, и оно не потечёт из бутылки.

---

[4] Notes: 4

Кромвель, Оливер (1599–1658) — вождь английской буржуазной революции XVII века.

Оно густо, как хорошие сливки. Оно заключено в бочки чёрного дерева, крепкого, как железо. На них двойные обручи красной меди. На обручах латинская надпись: «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю». Эта надпись толковалась так пространно и разноречиво, что твой прадедушка, высокородный Симеон Грэй, построил дачу, назвал её «Рай» и думал таким образом согласить загадочное изречение с действительностью путём невинного остроумия. Но что ты думаешь? Он умер, как только начали сбивать обручи, от разрыва сердца, — так волновался лакомый старичок. С тех пор бочку эту не трогают. Возникло убеждение, что драгоценное вино принесёт несчастье. В самом деле, такой загадки не задавал египетский сфинкс. Правда, он спросил одного мудреца: «Съем ли я тебя, как съедаю всех? Скажи правду, останешься жив», но и то, по зрелом размышлении…

— Кажется, опять каплет из крана, — перебивал сам себя Польдишок, косвенными шагами устремляясь в угол, где, укрепив кран, возвращался с открытым, светлым лицом. — Да. Хорошо рассудив, а главное, не торопясь, мудрец мог бы сказать сфинксу: «Пойдём, братец, выпьем, и ты забудешь об этих глупостях». «Меня выпьет

Грэй, когда будет в раю»! Как понять? Выпьет, когда умрёт, что ли? Странно. Следовательно, он святой, следовательно, он не пьёт ни вина, ни простой водки. Допустим, что «рай» означает счастье. Но раз так поставлен вопрос, всякое счастье утратит половину своих блестящих пёрышек, когда счастливец искренно спросит себя: рай ли оно? Вот то-то и штука. Чтобы с лёгким сердцем напиться из такой бочки и смеяться, мой мальчик, хорошо смеяться, нужно одной ногой стоять на земле, другой — на небе. Есть ещё третье предположение: что когда-нибудь Грэй допьётся до блаженно-райского состояния и дерзко опустошит бочечку. Но это, мальчик, было бы не исполнение предсказания, а трактирный дебош.

Убедившись ещё раз в исправном состоянии крана большой бочки, Польдишок сосредоточенно и мрачно заканчивал:

— Эти бочки привёз в 1793 году твой предок, Джон Грэй, из Лиссабона, на корабле «Бигль»; за вино было уплачено две тысячи золотых пиастров. Надпись на бочках сделана оружейным мастером Вениамином Эльяном из Пондишери. Бочки погружены в грунт на шесть футов и засыпаны золой из виноградных стеблей. Этого вина

никто не пил, не пробовал и не будет пробовать.

— Я выпью его, — сказал однажды Грэй, топнув ногой.

— Вот храбрый молодой человек! — заметил Польдишок. — Ты выпьешь его в раю?

— Конечно. Вот рай!.. Он у меня, видишь? — Грэй тихо засмеялся, раскрыв свою маленькую руку. Нежная, но твёрдых очертаний ладонь озарилась солнцем, и мальчик сжал пальцы в кулак. — Вот он, здесь!.. То тут, то опять нет…

Говоря это, он то раскрывал, то сжимал руку и наконец, довольный своей шуткой, выбежал, опередив Польдишока, по мрачной лестнице в коридор нижнего этажа.

Посещение кухни было строго воспрещено Грэю, но, раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнём очагов мир пара, копоти, шипения, клокотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. В суровом молчании, как жрецы, двигались повара; их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения; весёлые, толстые судомойки у бочек с водой мыли посуду, звеня фарфором и серебром; мальчики, сгибаясь под тяжестью, вносили корзины, полные рыб,

устриц, раков и фруктов. Там на длинном столе лежали радужные фазаны, серые утки, пёстрые куры; там свиная туша с коротеньким хвостом и младенчески закрытыми глазами; там — репа, капуста, орехи, синий изюм, загорелые персики.

На кухне Грэй немного робел: ему казалось, что здесь всем двигают тёмные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка; окрики звучали как команда и заклинание; движения работающих, благодаря долгому навыку, приобрели ту отчётливую, скупую точность, какая кажется вдохновением. Грэй не был ещё так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию, но чувствовал к ней особенное почтение; он с трепетом смотрел, как её ворочают две служанки; на плиту выплёскивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушке. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови, и Бетси (так звали служанку), плача, натирала маслом пострадавшие места. Слёзы неудержимо катились по её круглому перепуганному лицу.

Грэй замер. В то время, как другие женщины

хлопотали около Бетси, он пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам.

— Очень ли тебе больно? — спросил он.

— Попробуй, так узнаешь, — ответила Бетси, накрывая руку передником.

Нахмурив брови, мальчик вскарабкался на табурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи (сказать кстати, это был суп с бараниной) и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось неслабым, но слабость от сильной боли заставила его пошатнуться. Бледный как мука Грэй подошёл к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек.

— Мне кажется, что тебе очень больно, — сказал он, умалчивая о своём опыте. — Пойдём, Бетси, к врачу. Пойдём же!

Он усердно тянул её за юбку, в то время как сторонники домашних средств наперерыв давали служанке спасительные рецепты. Но девушка, сильно мучаясь, пошла с Грэем. Врач смягчил боль, наложив перевязку. Лишь после того, как Бетси ушла, мальчик показал свою руку.

Этот незначительный эпизод сделал двадцатилетнюю Бетси и десятилетнего Грэя истинными друзьями. Она набивала его карманы пирож-

ками и яблоками, а он рассказывал ей сказки и другие истории, вычитанные в своих книжках. Однажды он узнал, что Бетси не может выйти замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег обзавестись хозяйством. Грэй разбил каминными щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда всё, что составляло около ста фунтов. Встав рано, когда бесприданница удалилась на кухню, он пробрался в её комнату и, засунув подарок в сундук девушки, прикрыл его короткой запиской: «Бетси, это твоё. Предводитель шайки разбойников Робин Гуд»[5]. Переполох, вызванный на кухне этой историей, принял такие размеры, что Грэй должен был сознаться в подлоге. Он не взял денег назад и не хотел более говорить об этом.

Его мать была одною из тех натур, которые жизнь отливает в готовой форме. Она жила в полусне обеспеченности, предусматривающей всякое желание заурядной души, поэтому ей не оставалось ничего делать, как советоваться с портнихами, доктором и дворецким. Но страстная, почти религиозная привязан-

[5] Notes: 5

Робин Гуд — легендарный герой английских народных баллад, неустрашимый атаман разбойников, защитник угнетённых от произвола феодалов.

ность к своему странному ребёнку была, надо полагать, единственным клапаном тех её склонностей, захлороформированных воспитанием и судьбой, которые уже не живут, но смутно бродят, оставляя волю бездейственной. Знатная дама напоминала паву, высидевшую яйцо лебедя. Она болезненно чувствовала прекрасную обособленность сына; грусть, любовь и стеснение наполняли её, когда она прижимала мальчика к груди, где сердце говорило другое, чем язык, привычно отражающий условные формы отношений и помышлений. Так облачный эффект, причудливо построенный солнечными лучами, проникает в симметрическую обстановку казённого здания, лишая её банальных достоинств; глаз видит и не узнаёт помещения: таинственные оттенки света среди убожества творят ослепительную гармонию.

Знатная дама, чьи лицо и фигура, казалось, могли отвечать лишь ледяным молчанием огненным голосам жизни, чья тонкая красота скорее отталкивала, чем привлекала, так как в ней чувствовалось надменное усилие воли, лишённое женственного притяжения, — эта Лилиан Грэй, оставаясь наедине с мальчиком, делалась простой мамой, говорившей любящим, кротким

тоном те самые сердечные пустяки, какие не передашь на бумаге — их сила в чувстве, не в самих них. Она решительно не могла в чём бы то ни было отказать сыну. Она прощала ему всё: пребывание в кухне, отвращение к урокам, непослушание и многочисленные причуды.

Если он не хотел, чтобы подстригали деревья, деревья оставались нетронутыми, если он просил простить или наградить кого-либо, заинтересованное лицо знало, что так и будет; он мог ездить на любой лошади, брать в замок любую собаку; рыться в библиотеке, бегать босиком и есть, что ему вздумается.

Его отец некоторое время боролся с этим, но уступил — не принципу, а желанию жены. Он ограничился удалением из замка всех детей служащих, опасаясь, что благодаря низкому обществу прихоти мальчика превратятся в склонности, трудно искоренимые. В общем, он был всепоглощённо занят бесчисленными фамильными процессами, начало которых терялось в эпохе возникновения бумажных фабрик, а конец — в смерти всех кляузников. Кроме того, государственные дела, дела поместий, диктант мемуаров, выезды парадных охот, чтение газет и сложная переписка держали его в некотором

внутреннем отдалении от семьи; сына он видел так редко, что иногда забывал, сколько ему лет.

Таким образом, Грэй жил в своём мире. Он играл один — обыкновенно на задних дворах замка, имевших в старину боевое значение. Эти обширные пустыри, с остатками высоких рвов, с заросшими мхом каменными погребами, были полны бурьяна, крапивы, репейника, тёрна и скромно-пёстрых диких цветов. Грэй часами оставался здесь, исследуя норы кротов, сражаясь с бурьяном, подстерегая бабочек и строя из кирпичного лома крепости, которые бомбардировал палками и булыжником.

Ему шёл уже двенадцатый год, когда все намёки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте и, тем получив стройное выражение, стали неукротимым желанием. До этого он как бы находил лишь отдельные части своего сада — просвет, тень, цветок, дремучий и пышный ствол — во множестве садов иных, и вдруг увидел их ясно, все — в прекрасном, поражающем соответствии.

Это случилось в библиотеке. Её высокая дверь с мутным стеклом вверху была обыкновенно заперта, но защёлка замка слабо держалась

в гнезде створок; надавленная рукой, дверь отходила, натуживалась и раскрывалась. Когда дух исследования заставил Грэя проникнуть в библиотеку, его поразил пыльный свет, вся сила и особенность которого заключалась в цветном узоре верхней части оконных стёкол. Тишина покинутости стояла здесь, как прудовая вода. Тёмные ряды книжных шкапов местами примыкали к окнам, заслонив их наполовину, между шкапов были проходы, заваленные грудами книг. Там — раскрытый альбом с выскользнувшими внутренними листами, там — свитки, перевязанные золотым шнуром; стопы книг угрюмого вида; толстые пласты рукописей, насыпь миниатюрных томиков, трещавших как кора, если их раскрывали; здесь — чертежи и таблицы, ряды новых изданий, карты; разнообразие переплётов, грубых, нежных, чёрных, пёстрых, синих, серых, толстых, тонких, шершавых и гладких. Шкапы были плотно набиты книгами. Они казались стенами, заключившими жизнь в самой толще своей. В отражениях шкапных стёкол виднелись другие шкапы, покрытые бесцветно блестящими пятнами. Огромный глобус, заключённый в медный сферический крест экватора и меридиана, стоял на круглом столе.

Обернувшись к выходу, Грэй увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Струи пены стекали по его склону. Он был изображён в последнем моменте взлёта. Корабль шёл прямо на зрителя. Высоко поднявшийся бугшприт[6] заслонял основание мачт. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Пена неслась в воздух. Паруса, туманно видимые из-за бакборта[7] и выше бугшприта, полные неистовой силы шторма, валились всей громадой назад, чтобы, перейдя вал, выпрямиться, а затем, склоняясь над бездной, мчать судно к новым лавинам. Разорванные облака низко трепетали над океаном. Тусклый свет обречённо боролся с надвигающейся тьмой ночи. Но всего замечательнее была в этой картине фигура человека, стоящего на баке спиной к зрителю. Она выражала всё положение, даже характер момента. Поза человека (он расставил ноги, взмахнув руками) ничего, собственно, не говорила о том,

---

[6] Notes: 6
Бугшприт (прав. — бушприт) — здесь: носовая оконечность судна.

[7] Notes: 7
Бакборт — левый, по ходу судна, борт.

чем он занят, но заставляла предполагать крайнюю напряжённость внимания, обращённого к чему-то на палубе, невидимой зрителю. Завёрнутые полы его кафтана трепались ветром; белая коса и чёрная шпага вытянуто рвались в воздух; богатство костюма выказывало в нём капитана, танцующее положение тела — взмах вала; без шляпы, он был, видимо, поглощён опасным моментом и кричал — но что? Видел ли он, как валится за борт человек, приказывал ли повернуть на другой галс или, заглушая ветер, звал боцмана? Не мысли, но тени этих мыслей выросли в душе Грэя, пока он смотрел картину. Вдруг показалось ему, что слева подошёл, став рядом, неизвестный невидимый; стоило повернуть голову, как причудливое ощущение исчезло бы без следа. Грэй знал это. Но он не погасил воображения, а прислушался. Беззвучный голос выкрикнул несколько отрывистых фраз, непонятных, как малайский язык; раздался шум как бы долгих обвалов; эхо и мрачный ветер наполнили библиотеку. Всё это Грэй слышал внутри себя. Он осмотрелся: мгновенно вставшая тишина рассеяла звучную паутину фантазии; связь с бурей исчезла.

Грэй несколько раз приходил смотреть эту

картину. Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана. Там, сея за кормой пену, двигались корабли. Часть их теряла паруса, мачты и, захлёбываясь волной, опускалась в тьму пучин, где мелькают фосфорические глаза рыб. Другие, схваченные бурунами, бились о рифы; утихающее волнение грозно шатало корпус; обезлюдевший корабль с порванными снастями переживал долгую агонию, пока новый шторм не разносил его в щепки. Третьи благополучно грузились в одном порту и выгружались в другом; экипаж, сидя за трактирным столом, воспевал плавание и любовно пил водку. Были там ещё корабли-пираты, с чёрным флагом и страшной, размахивающей ножами командой; корабли-призраки, сияющие мертвенным светом синего озарения; военные корабли с солдатами, пушками и музыкой; корабли научных экспедиций, высматривающие вулканы, растения и животных; корабли с мрачной тайной и бунтами; корабли открытий и корабли приключений.

В этом мире, естественно, возвышалась над всем фигура капитана. Он был судьбой, душой и разумом корабля. Его характер определял досуги и работу команды. Сама команда подбиралась им лично и во многом отвечала его наклонностям. Он знал привычки и семейные дела каждого человека. Он обладал в глазах подчинённых магическим знанием, благодаря которому уверенно шёл, скажем, из Лиссабона в Шанхай, по необозримым пространствам. Он отражал бурю противодействием системы сложных усилий, убивая панику короткими приказаниями; плавал и останавливался, где хотел; распоряжался отплытием и нагрузкой, ремонтом и отдыхом; большую и разумнейшую власть в живом деле, полном непрерывного движения, трудно было представить. Эта власть замкнутостью и полнотой равнялась власти Орфея[8].

Такое представление о капитане, такой образ и такая истинная действительность его положения заняли, по праву душевных событий, главное место в блистающем сознании Грэя. Никакая профессия, кроме этой, не могла бы так удачно сплавить в одно целое все сокровища жизни,

[8] Notes: 8

Орфей — в древнегреческой мифологии — певец, пение которого очаровывало не только людей, но и диких зверей, деревья, скалы, реки.

сохранив неприкосновенным тончайший узор каждого отдельного счастья. Опасность, риск, власть природы, свет далёкой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, между тем как высоко в небе то Южный Крест, то Медведица, и все материки — в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с её книгами, картинами, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном в замшевой ладанке на твёрдой груди.

Осенью, на пятнадцатом году жизни, Артур Грэй тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. Вскорости из порта Дубельт вышла в Марсель шкуна «Ансельм», увозя юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки. Этот юнга был Грэй, обладатель изящного саквояжа, тонких, как перчатка, лакированных сапожков и батистового белья с вытканными коронами.

В течение года, пока «Ансельм» посещал Францию, Америку и Испанию, Грэй промотал часть своего имущества на пирожном, отдавая этим дань прошлому, а остальную часть — для настоящего и будущего — проиграл в карты. Он хотел быть «дьявольским» моряком. Он, задыхаясь, пил

водку, а на купаньи, с замирающим сердцем, прыгал в воду головой вниз с двухсаженной высоты. Понемногу он потерял всё, кроме главного — своей странной летящей души; он потерял слабость, став широк костью и крепок мускулами, бледность заменил тёмным загаром, изысканную беспечность движений отдал за уверенную меткость работающей руки, а в его думающих глазах отразился блеск, как у человека, смотрящего на огонь. И его речь, утратив неравномерную, надменно застенчивую текучесть, стала краткой и точной, как удар чайки в струю за трепетным серебром рыб.

Капитан «Ансельма» был добрый человек, но суровый моряк, взявший мальчика из некоего злорадства. В отчаянном желании Грэя он видел лишь эксцентрическую прихоть и заранее торжествовал, представляя, как месяца через два Грэй скажет ему, избегая смотреть в глаза: «Капитан Гоп, я ободрал локти, ползая по снастям; у меня болят бока и спина, пальцы не разгибаются, голова трещит, а ноги трясутся. Все эти мокрые канаты в два пуда на весу рук; все эти леера[9],

[9] Notes: 9

Леер — туго натянутая верёвка или трос, оба конца которого закреплены. Леера — ограждения на судне.

ванты, брашпили, тросы, стеньги[10] и саллинги созданы на мучение моему нежному телу. Я хочу к маме». Выслушав мысленно такое заявление, капитан Гоп держал, мысленно же, следующую речь: «Отправляйтесь куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть её дома одеколоном «Роза-Мимоза». Этот выдуманный Гопом одеколон более всего радовал капитана и, закончив воображённую отповедь, он вслух повторял:

— Да. Ступайте к «Розе-Мимозе».

Между тем внушительный диалог приходил на ум капитану всё реже и реже, так как Грэй шёл к цели с стиснутыми зубами и побледневшим лицом. Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится всё легче и легче по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось, что петлёй якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что не придержанный у кнека[11]

---

[10] Notes: 10

Стеньга — верхняя часть мачты.

[11] Notes: 11

Кнек (кнехт) — чугунная или деревянная тумба; кнехты могут быть расположены попарно для закрепления швартовов — канатов, которыми судно крепится к причалу.

канат вырывался из рук, сдирая с ладоней кожу, что ветер бил его по лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом, и, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания, но, как ни тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица. Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань до тех пор, пока не стал в новой сфере «своим», но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление.

Однажды капитан Гоп, увидев, как он мастерски вяжет на рею парус, сказал себе: «Победа на твоей стороне, плут». Когда Грэй спустился на палубу, Гоп вызвал его в каюту и, раскрыв истрёпанную книгу, сказал:

— Слушай внимательно! Брось курить! Начинается отделка щенка под капитана.

И он стал читать — вернее, говорить и кричать — по книге древние слова моря. Это был первый урок Грэя. В течение года он познакомился с навигацией, практикой, кораблестроением, морским правом, лоцией и бухгалтерией. Капитан Гоп подавал ему руку и говорил: «Мы».

В Ванкувере Грэя поймало письмо матери, полное слёз и страха. Он ответил: «Я знаю. Но ес-

ли бы ты видела, как я; посмотри моими глазами. Если бы ты слышала, как я: приложи к уху раковину: в ней шум вечной волны; если бы ты любила, как я — всё, в твоём письме я нашёл бы, кроме любви и чека, — улыбку…» И он продолжал плавать, пока «Ансельм» не прибыл с грузом в Дубельт, откуда, пользуясь остановкой, двадцатилетний Грэй отправился навестить замок.

Всё было то же кругом; так же нерушимо в подробностях и в общем впечатлении, как пять лет назад, лишь гуще стала листва молодых вязов; её узор на фасаде здания сдвинулся и разросся.

Слуги, сбежавшиеся к нему, обрадовались, встрепенулись и замерли в той же почтительности, с какой, как бы не далее как вчера, встречали этого Грэя. Ему сказали, где мать; он прошёл в высокое помещение и, тихо прикрыв дверь, неслышно остановился, смотря на поседевшую женщину в чёрном платье. Она стояла перед распятием: её страстный шёпот был звучен, как полное биение сердца. «О плавающих, путешествующих, болеющих, страдающих и пленённых, — слышал, коротко дыша, Грэй. Затем было сказано: — и мальчику моему…» Тогда он сказал: — «Я…» Но больше не мог ничего выговорить. Мать обернулась. Она похудела:

в надменности её тонкого лица светилось новое выражение, подобное возвращённой юности. Она стремительно подошла к сыну; короткий грудной смех, сдержанное восклицание и слёзы в глазах — вот и всё. Но в эту минуту она жила сильнее и лучше, чем за всю жизнь. «Я сразу узнала тебя, о, мой милый, мой маленький!» И Грэй действительно перестал быть большим. Он выслушал о смерти отца, затем рассказал о себе. Она внимала без упрёков и возражений, но про себя — во всём, что он утверждал, как истину своей жизни, — видела лишь игрушки, которыми забавляется её мальчик. Такими игрушками были материки, океаны и корабли.

Грэй пробыл в замке семь дней; на восьмой день, взяв крупную сумму денег, он вернулся в Дубельт и сказал капитану Гопу: «Благодарю. Вы были добрым товарищем. Прощай же, старший товарищ, — здесь он закрепил истинное значение этого слова жутким, как тиски, рукопожатием, — теперь я буду плавать отдельно, на собственном корабле». Гоп вспыхнул, плюнул, вырвал руку и пошёл прочь, но Грэй, догнав, обнял его. И они уселись в гостинице, все вместе, двадцать четыре человека с командой, и пили, и кричали, и пели, и выпили и съели всё, что

было на буфете и в кухне.

Прошло ещё мало времени, и в порте Дубельт вечерняя звезда сверкнула над чёрной линией новой мачты. То был «Секрет», купленный Грэем; трёхмачтовый галиот в двести шестьдесят тонн. Так, капитаном и собственником корабля, Артур Грэй плавал ещё четыре года, пока судьба не привела его в Лисс. Но он уже навсегда запомнил тот короткий грудной смех, полный сердечной музыки, каким встретили его дома, и раза два в год посещал замок, оставляя женщине с серебряными волосами нетвёрдую уверенность в том, что такой большой мальчик, пожалуй, справится с своими игрушками.

Глава III
Рассвет

Струя пены, отбрасываемая кормой корабля Грэя «Секрет», прошла через океан белой чертой и погасла в блеске вечерних огней Лисса. Корабль встал на рейде недалеко от маяка.

Десять дней «Секрет» выгружал чесучу, кофе и чай, одиннадцатый день команда провела на берегу, в отдыхе и винных парах; на двенадцатый день Грэй глухо затосковал, без всякой причины, не понимая тоски.

Ещё утром, едва проснувшись, он уже почувствовал, что этот день начался в чёрных лучах. Он мрачно оделся, неохотно позавтракал, забыл прочитать газету и долго курил, погружённый в невыразимый мир бесцельного напряжения; среди смутно возникающих слов бродили непризнанные желания, взаимно уничтожая себя равным усилием. Тогда он занялся делом.

В сопровождении боцмана Грэй осмотрел корабль, велел подтянуть ванты, ослабить штуртрос, почистить клюзы, переменить кливер[12],

---

[12] Notes: 12
Кливер — косой парус впереди фок-мачты.

просмолить палубу, вычистить компас, открыть, проветрить и вымести трюм. Но дело не развлекало Грэя. Полный тревожного внимания к тоскливости дня, он прожил его раздражительно и печально: его как бы позвал кто-то, но он забыл, кто и куда.

Под вечер он уселся в каюте, взял книгу и долго возражал автору, делая на полях заметки парадоксального свойства. Некоторое время его забавляла эта игра, эта беседа с властвующим из гроба мёртвым. Затем, взяв трубку, он утонул в синем дыме, живя среди призрачных арабесок, возникающих в его зыбких слоях.

Табак страшно могуч; как масло, вылитое в скачущий разрыв волн, смиряет их бешенство, так и табак: смягчая раздражение чувств, он сводит их несколькими тонами ниже; они звучат плавнее и музыкальнее. Поэтому тоска Грэя, утратив наконец после трёх трубок наступательное значение, перешла в задумчивую рассеянность. Такое состояние длилось ещё около часа; когда исчез душевный туман, Грэй очнулся, захотел движения и вышел на палубу. Была полная ночь; за бортом в сне чёрной воды дремали звёзды и огни мачтовых фонарей. Тёплый, как щека, воздух пахнул морем. Грэй, подняв голову, при-

щурился на золотой уголь звезды; мгновенно через умопомрачительность миль проникла в его зрачки огненная игла далёкой планеты. Глухой шум вечернего города достигал слуха из глубины залива; иногда с ветром по чуткой воде влетала береговая фраза, сказанная как бы на палубе; ясно прозвучав, она гасла в скрипе снастей; на баке[13] вспыхнула спичка, осветив пальцы, круглые глаза и усы. Грэй свистнул; огонь трубки двинулся и поплыл к нему; скоро капитан увидел во тьме руки и лицо вахтенного.

— Передай Летике, — сказал Грэй, — что он поедет со мной. Пусть возьмёт удочки.

Он спустился в шлюп, где ждал минут десять. Летика, проворный, жуликоватый парень, загремев о борт вёслами, подал их Грэю; затем спустился сам, наладил уключины и сунул мешок с провизией в корму шлюпа. Грэй сел к рулю.

— Куда прикажете плыть, капитан? — спросил Летика, кружа лодку правым веслом.

Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание нельзя вставлять слова, и поэтому, замолчав сам, стал сильно грести.

Грэй взял направление к открытому морю,

---

[13] Notes: 13
Бак — носовая часть верхней палубы, носовая надстройка.

затем стал держаться левого берега. Ему было всё равно, куда плыть. Руль глухо журчал; звякали и плескали вёсла, всё остальное было морем и тишиной.

В течение дня человек внимает такому множеству мыслей, впечатлений, речей и слов, что всё это составило бы не одну толстую книгу. Лицо дня приобретает определённое выражение, но Грэй сегодня тщетно вглядывался в это лицо. В его смутных чертах светилось одно из тех чувств, каких много, но которым не дано имени. Как их ни называть, они останутся навсегда вне слов и даже понятий, подобные внушению аромата. Во власти такого чувства был теперь Грэй; он мог бы, правда, сказать: «Я жду, я вижу, я скоро узнаю…» — но даже эти слова равнялись не большему, чем отдельные чертежи в отношении архитектурного замысла. В этих веяниях была ещё сила светлого возбуждения.

Там, где они плыли, слева волнистым сгущением тьмы проступал берег. Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб; это была Каперна. Грэй слышал перебранку и лай. Огни деревни напоминали печную дверцу, прогоревшую дырочками, сквозь которые виден пылающий уголь. Направо был океан, явственный, как при-

сутствие спящего человека. Миновав Каперну, Грэй повернул к берегу. Здесь тихо прибивало водой; засветив фонарь, он увидел ямы обрыва и его верхние, нависшие выступы; это место ему понравилось.

— Здесь будем ловить рыбу, — сказал Грэй, хлопая гребца по плечу.

Матрос неопределённо хмыкнул.

— Первый раз плаваю с таким капитаном, — пробормотал он. — Капитан дельный, но непохожий. Загвоздистый капитан. Впрочем, люблю его.

Забив весло в ил, он привязал к нему лодку, и оба поднялись вверх, карабкаясь по выскакивающим из-под колен и локтей камням. От обрыва тянулась чаща. Раздался стук топора, ссекающего сухой ствол; повалив дерево, Летика развёл костёр на обрыве. Двинулись тени и отражённое водой пламя; в отступившем мраке высветились трава и ветви; над костром, перевитый дымом, сверкая, дрожал воздух.

Грэй сел у костра.

— Ну-ка, — сказал он, протягивая бутылку, — выпей, друг Летика, за здоровье всех трезвенников. Кстати, ты взял не хинную, а имбирную.

— Простите, капитан, — ответил матрос, пе-

реводя дух. — Разрешите закусить этим… — Он отгрыз сразу половину цыплёнка и, вынув изо рта крылышко, продолжал: — Я знаю, что вы любите хинную. Только было темно, а я торопился. Имбирь, понимаете, ожесточает человека. Когда мне нужно подраться, я пью имбирную.

Пока капитан ел и пил, матрос искоса посматривал на него, затем, не удержавшись, сказал:

— Правда ли, капитан, что говорят, будто бы родом вы из знатного семейства?

— Это не интересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь.

— А вы?

— Я? Не знаю. Может быть. Но… потом.

Летика размотал удочку, приговаривая стихами, на что был мастер, к великому восхищению команды:

— Из шнурка и деревяшки я изладил длинный хлыст и, крючок к нему приделав, испустил протяжный свист. — Затем он пощекотал пальцем в коробке червей. — Этот червь в земле скитался и своей был жизни рад, а теперь на крюк попался — и его сомы съедят.

Наконец он ушёл с пением:

— Ночь тиха, прекрасна водка, трепещите, осетры́, хлопнись в обморок, селёдка, — удит

Летика с горы!

Грэй лёг у костра, смотря на отражавшую огонь воду. Он думал, но без участия воли; в этом состоянии мысль, рассеянно удерживая окружающее, смутно видит его; она мчится, подобно коню в тесной толпе, давя, расталкивая и останавливая; пустота, смятение и задержка попеременно сопутствуют ей. Она бродит в душе вещей; от яркого волнения спешит к тайным намёкам; кружится по земле и небу, жизненно беседует с воображёнными лицами, гасит и украшает воспоминания. В облачном движении этом всё живо и выпукло и всё бессвязно, как бред. И часто улыбается отдыхающее сознание, видя, например, как в размышление о судьбе вдруг жалует гостем образ совершенно неподходящий: какой-нибудь прутик, сломанный два года назад. Так думал у костра Грэй, но был «где-то» — не здесь.

Локоть, которым он опирался, поддерживая рукой голову, просырел и затёк. Бледно светились звёзды; мрак усилился напряжением, предшествующим рассвету. Капитан стал засыпать, но не замечал этого. Ему захотелось выпить, и он потянулся к мешку, развязывая его уже во сне. Затем ему перестало сниться; следующие два часа были для Грэя не долее тех секунд, в течение

которых он склонился головой на руки. За это время Летика появлялся у костра дважды, курил и засматривал из любопытства в рот пойманным рыбам — что там? Но там, само собой, ничего не было.

Проснувшись, Грэй на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди ярких ветвей и пылающую синюю даль; над горизонтом, но в то же время и над его ногами висели листья орешника. Внизу обрыва — с впечатлением, что под самой спиной Грэя, — шипел тихий прибой. Мелькнув с листа, капля росы растеклась по сонному лицу холодным шлепком. Он встал. Везде торжествовал свет. Остывшие головни костра цеплялись за жизнь тонкой струёй дыма. Его запах придавал удовольствию дышать воздухом лесной зелени дикую прелесть.

Летики не было; он увлёкся; он, вспотев, удил с увлечением азартного игрока. Грэй вышел из чащи в кустарник, разбросанный по скату холма. Дымилась и горела трава; влажные цветы выглядели как дети, насильно умытые холодной водой. Зелёный мир дышал бесчисленностью крошечных ртов, мешая проходить Грэю среди своей ликующей тесноты. Капитан выбрался

на открытое место, заросшее пёстрой травой, и увидел здесь спящую молодую девушку.

Он тихо отвёл рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Не далее как в пяти шагах, свернувшись, подобрав одну ножку и вытянув другую, лежала головой на уютно подвёрнутых руках утомившаяся Ассоль. Её волосы сдвинулись в беспорядке; у шеи расстегнулась пуговица, открыв белую ямку; раскинувшаяся юбка обнажала колени; ресницы спали на щеке, в тени нежного, выпуклого виска, полузакрытого тёмной прядью; мизинец правой руки, бывшей под головой, пригибался к затылку. Грэй присел на корточки, заглядывая девушке в лицо снизу и не подозревая, что напоминает собой фавна с картины Арнольда Бёклина[14].

Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами, но тут он иначе увидел её. Всё стронулось, всё усмехнулось в нём. Разумеется, он не знал ни её, ни её имени, ни, тем более, почему она уснула на берегу, но был этим очень доволен. Он любил картины без объяснений и подписей. Впечат-

---

[14] Notes: 14

Бёклин, Арнольд (1827–1901) — швейцарский живописец, скульптор, график. В художественном искусстве часто обращался к мифологическим сюжетам.

ление такой картины несравненно сильнее; её содержание, не связанное словами, становится безграничным, утверждая все догадки и мысли.

Тень листвы подобралась ближе к стволам, а Грэй всё ещё сидел в той же малоудобной позе. Всё спало на девушке: спали тёмные волосы, спало платье и складки платья; даже трава поблизости её тела, казалось, задремала в силу сочувствия. Когда впечатление стало полным, Грэй вошёл в его тёплую подмывающую волну и уплыл с ней. Давно уже Летика кричал: «Капитан, где вы?» — но капитан не слышал его.

Когда он наконец встал, склонность к необычайному застала его врасплох с решимостью и вдохновением раздражённой женщины. Задумчиво уступая ей, он снял с пальца старинное дорогое кольцо, не без основания размышляя, что, может быть, этим подсказывает жизни нечто существенное, подобно орфографии. Он бережно опустил кольцо на малый мизинец, белевший из-под затылка. Мизинец нетерпеливо двинулся и поник. Взглянув ещё раз на это отдыхающее лицо, Грэй повернулся и увидел в кустах высоко поднятые брови матроса. Летика, разинув рот, смотрел на занятия Грэя с таким удивлением,

с каким, верно, смотрел Иона[15] на пасть своего меблированного кита.

— А, это ты, Летика! — сказал Грэй. — Посмотри-ка на неё. Что, хороша?

— Дивное художественное полотно! — шёпотом закричал матрос, любивший книжные выражения. — В соображении обстоятельств есть нечто располагающее. Я поймал четыре мурены[16] и ещё какую-то толстую, как пузырь.

— Тише, Летика. Уберёмся отсюда.

Они отошли в кусты. Им следовало бы теперь повернуть к лодке, но Грэй медлил, рассматривая даль низкого берега, где над зеленью и песком лился утренний дым труб Каперны. В этом дыме он снова увидел девушку.

Тогда он решительно повернул, спускаясь вдоль склона; матрос, не спрашивая, что случилось, шёл сзади; он чувствовал, что вновь наступило обязательное молчание. Уже около первых строений Грэй вдруг сказал:

— Не определишь ли ты, Летика, твоим опытным глазом, где здесь трактир?

---

[15] Notes: 15

Иона — библейский пророк, по преданию, побывавший в чреве кита и вышедший оттуда невредимым.

[16] Notes: 16

Мурена — крупная морская рыба.

— Должно быть, вон та чёрная крыша, — сообразил Летика, — а впрочем, может, и не она.

— Что же в этой крыше приметного?

— Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца.

Они подошли к дому; то был действительно трактир Меннерса. В раскрытом окне, на столе, виднелась бутылка; возле неё чья-то грязная рука доила полуседой ус.

Хотя час был ранний, в общей зале трактирчика расположилось три человека. У окна сидел угольщик, обладатель пьяных усов, уже замеченных нами; между буфетом и внутренней дверью зала за яичницей и пивом помещались два рыбака. Меннерс, длинный молодой парень, с веснушчатым скучным лицом и тем особенным выражением хитрой бойкости в подслеповатых глазах, какое присуще торгашам вообще, перетирал за стойкой посуду. На грязном полу лежал солнечный переплёт окна.

Едва Грэй вступил в полосу дымного света, как Меннерс, почтительно кланяясь, вышел из-за своего прикрытия. Он сразу угадал в Грэе настоящего капитана — разряд гостей, редко им виденных. Грэй спросил рома. Накрыв стол пожелтевшей в суете людской скатертью, Меннерс

принёс бутылку, лизнув предварительно языком кончик отклеившейся этикетки. Затем он вернулся за стойку, поглядывая внимательно то на Грэя, то на тарелку, с которой отдирал ногтем что-то присохшее.

В то время как Летика, взяв стакан обеими руками, скромно шептался с ним, посматривая в окно, Грэй подозвал Меннерса. Хин самодовольно уселся на кончик стула, польщённый этим обращением и польщённый именно потому, что оно выразилось простым киванием Грэева пальца.

— Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей, — спокойно заговорил Грэй. — Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в платье с розовыми цветочками, тёмно-русой и невысокой, в возрасте от семнадцати до двадцати лет. Я встретил её неподалёку отсюда. Как её имя?

Он сказал это с твёрдой простотой силы, не позволяющей увильнуть от данного тона. Хин Меннерс внутренне завертелся и даже ухмыльнулся слегка, но внешне подчинился характеру обращения. Впрочем, прежде чем ответить, он помолчал — единственно из бесплодного желания догадаться, в чём дело.

— Гм! — сказал он, поднимая глаза в потолок. —

Это, должно быть, Корабельная Ассоль, больше быть некому. Она полоумная.

— В самом деле? — равнодушно сказал Грэй, отпивая крупный глоток. — Как же это случилось?

— Когда так, извольте послушать. — И Хин рассказал Грэю о том, как лет семь назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен. Разумеется, эта история с тех пор, как нищий утвердил её бытие в том же трактире, приняла очертания грубой и плоской сплетни, но сущность оставалась нетронутой. — С тех пор так её и зовут, — сказал Меннерс, — зовут её Ассоль Корабельная.

Грэй машинально взглянул на Летику, продолжавшего быть тихим и скромным, затем его глаза обратились к пыльной дороге, пролегающей у трактира, и он ощутил как бы удар — одновременный удар в сердце и голову. По дороге, лицом к нему, шла та самая Корабельная Ассоль, к которой Меннерс только что отнёсся клинически. Удивительные черты её лица, напоминающие тайну неизгладимо волнующих, хотя простых слов, предстали перед ним теперь в свете её взгляда. Матрос и Меннерс сидели к окну спиной, но, чтобы они случайно не повернулись, Грэй имел мужество отвести взгляд на рыжие глаза Хина.

После того, как он увидел глаза Ассоль, рассеялась вся косность Меннерсова рассказа. Между тем, ничего не подозревая, Хин продолжал:

— Ещё могу сообщить вам, что её отец сущий мерзавец. Он утопил моего папашу, как кошку какую-нибудь, прости господи. Он…

Его перебил неожиданный дикий рёв сзади. Страшно ворочая глазами, угольщик, стряхнув хмельное оцепенение, вдруг рявкнул пением, и так свирепо, что все вздрогнули:

Корзинщик, корзинщик,

Дери с нас за корзины!..

— Опять ты нагрузился, вельбот проклятый! — закричал Меннерс. — Уходи вон!

…Но только бойся попадать

В наши палестины!.. —

взвыл угольщик и, как будто ничего не было, потопил усы в плеснувшем стакане.

Хин Меннерс возмущённо пожал плечами.

— Дрянь, а не человек, — сказал он с жутким достоинством скопидома. — Каждый раз такая история!

— Более вы ничего не можете рассказать? — спросил Грэй.

— Я-то? Я же вам говорю, что отец мерзавец. Через него я, ваша милость, осиротел и ещё дитёй должен был самостоятельно поддерживать бренное пропитание…

— Ты врёшь, — неожиданно сказал угольщик. — Ты врёшь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел. — Хин не успел раскрыть рот, как угольщик обратился к Грэю: — Он врёт. Его отец тоже врал; врала и мать. Такая порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами. Я с ней разговаривал. Она сидела на моей повозке восемьдесят четыре раза, или немного меньше. Когда девушка идёт пешком из города, а я продал свой уголь, я уж непременно посажу девушку. Пускай она сидит. Я говорю, что у неё хорошая голова. Это сейчас видно. С тобой, Хин Меннерс, она, понятно, не скажет двух слов. Но я, сударь, в свободном угольном деле презираю суды и толки. Она говорит, как большая, но причудливый её разговор. Прислушиваешься — как будто всё то же самое, что мы с вами сказали бы, а у неё то же, да не совсем так. Вот, к примеру, раз завелось дело о её ремесле. «Я тебе что скажу, — говорит она и держится за моё плечо, как муха за колокольню, — моя работа не скучная, только всё хочется придумать особен-

ное. Я, — говорит, — так хочу изловчиться, чтобы у меня на доске сама плавала лодка, а гребцы гребли бы по-настоящему; потом они пристают к берегу, отдают причал и честь честью, точно живые, сядут на берегу закусывать». Я, это, захохотал, мне, стало быть, смешно стало. Я говорю: «Ну, Ассоль, это ведь такое твоё дело, и мысли поэтому у тебя такие, а вокруг посмотри: все в работе, как в драке». — «Нет, — говорит она, — я знаю, что знаю. Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает большую рыбу, какой никто не ловил». — «Ну, а я?» — «А ты? — смеётся она. — Ты, верно, когда наваливаешь углём корзину, то думаешь, что она зацветёт». Вот какое слово она сказала! В ту же минуту дёрнуло меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину, и так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки; лопнули эти почки, брызнуло по корзине листом и пропало. Я малость протрезвел даже! А Хин Меннерс врёт и денег не берёт; я его знаю!

Считая, что разговор перешёл в явное оскорбление, Меннерс пронзил угольщика взглядом и скрылся за стойку, откуда горько осведомился:

— Прикажете подать что-нибудь?

— Нет, — сказал Грэй, доставая деньги, — мы встаём и уходим. Летика, ты останешься здесь,

вернёшься к вечеру и будешь молчать. Узнав всё, что сможешь, передай мне. Ты понял?

— Добрейший капитан, — сказал Летика с некоторой фамильярностью, вызванной ромом, — не понять этого может только глухой.

— Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя ни говорить обо мне, ни упоминать даже моё имя. Прощай!

Грэй вышел. С этого времени его не покидало уже чувство поразительных открытий, подобно искре в пороховой ступке Бертольда[17], — одного из тех душевных обвалов, из-под которых вырывается, сверкая, огонь. Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями, только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх — знойному солнцу, — как сделал это однажды мальчиком в винном погребе; затем отплыл и стал быстро грести по направлению к гавани.

---

[17] Notes: 17

Пороховая ступка Бертольда — Бертольд Шварц, францисканский монах, один из первых изобретателей пороха и огнестрельного оружия в Европе XIV века.

Глава IV
Накануне

Накануне того дня и через семь лет после того, как Эгль, собиратель песен, рассказал девочке на берегу моря сказку о корабле с алыми парусами, Ассоль в одно из своих еженедельных посещений игрушечной лавки вернулась домой расстроенная, с печальным лицом. Свой товар она принесла обратно. Она была так огорчена, что сразу не могла говорить и только лишь после того, как по встревоженному лицу Лонгрена увидела, что он ожидает чего-то значительно худшего действительности, начала рассказывать, водя пальцем по стеклу окна, у которого стала, рассеянно наблюдая море.

Хозяин игрушечной лавки начал в этот раз с того, что открыл счётную книгу и показал ей, сколько за ними долга. Она содрогнулась, увидев внушительное трёхзначное число. «Вот сколько вы забрали с декабря, — сказал торговец, — а вот посмотри, на сколько продано». И он упёрся пальцем в другую цифру, уже из двух знаков.

— Жалостно и обидно смотреть. Я видела по его

лицу, что он груб и сердит. Я с радостью убежала бы, но, честное слово, сил не было от стыда. И он стал говорить: «Мне, милая, это больше не выгодно. Теперь в моде заграничный товар, все лавки полны им, а эти изделия не берут». Так он сказал. Он говорил ещё много чего, но я всё перепутала и забыла. Должно быть, он сжалился надо мною, так как посоветовал сходить в «Детский Базар» и «Аладдинову Лампу».

Выговорив самое главное, девушка повернула голову, робко посмотрев на старика. Лонгрен сидел понурясь, сцепив пальцы рук между колен, на которые оперся локтями. Чувствуя взгляд, он поднял голову и вздохнул. Поборов тяжёлое настроение, девушка подбежала к нему, устроилась сидеть рядом и, продев свою лёгкую руку под кожаный рукав его куртки, смеясь и заглядывая отцу снизу в лицо, продолжала с деланым оживлением:

— Ничего, это всё ничего, ты слушай, пожалуйста. Вот я пошла. Ну-с, прихожу в большой страшеннейший магазин; там куча народа. Меня затолкали; однако я выбралась и подошла к чёрному человеку в очках. Что я ему сказала, я ничего не помню; под конец он усмехнулся, порылся в моей корзине, посмотрел кое-что, по-

том снова завернул, как было, в платок и отдал обратно.

Лонгрен сердито слушал. Он как бы видел свою оторопевшую дочку в богатой толпе у прилавка, заваленного ценным товаром. Аккуратный человек в очках снисходительно объяснил ей, что он должен разориться, ежели начнёт торговать нехитрыми изделиями Лонгрена. Небрежно и ловко ставил он перед ней на прилавок складные модели зданий и железнодорожных мостов; миниатюрные отчётливые автомобили, электрические наборы, аэропланы и двигатели. Всё это пахло краской и школой. По всем его словам, выходило, что дети в играх только подражают теперь тому, что делают взрослые.

Ассоль была ещё в «Аладдиновой Лампе» и в двух других лавках, но ничего не добилась.

Оканчивая рассказ, она собрала ужинать; поев и выпив стакан крепкого кофе, Лонгрен сказал:

— Раз нам не везёт, надо искать. Я, может быть, снова поступлю служить — на «Фицроя» или «Палермо». Конечно, они правы, — задумчиво продолжал он, думая об игрушках. — Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Всё это так, а жаль, право, жаль. Сумеешь ли ты прожить без меня

время одного рейса? Немыслимо оставить тебя одну.

— Я также могла бы служить вместе с тобой; скажем, в буфете.

— Нет! — Лонгрен припечатал это слово ударом ладони по вздрогнувшему столу. — Пока я жив, ты служить не будешь. Впрочем, есть время подумать.

Он хмуро умолк. Ассоль примостилась рядом с ним на углу табурета; он видел сбоку, не поворачивая головы, что она хлопочет утешить его, и чуть было не улыбнулся. Но улыбнуться — значило спугнуть и смутить девушку. Она, приговаривая что-то про себя, разгладила его спутанные седые волосы, поцеловала в усы и, заткнув мохнатые отцовские уши своими маленькими тоненькими пальцами, сказала: «Ну вот, теперь ты не слышишь, что я тебя люблю». Пока она охорашивала его, Лонгрен сидел, крепко сморщившись, как человек, боящийся дохнуть дымом, но, услышав её слова, густо захохотал.

— Ты милая, — просто сказал он и, потрепав девушку по щеке, пошёл на берег посмотреть лодку.

Ассоль некоторое время стояла в раздумье посреди комнаты, колеблясь между желанием

отдаться тихой печали и необходимостью домашних забот; затем, вымыв посуду, пересмотрела в шкапу остатки провизии. Она не взвешивала и не мерила, но видела, что с мукой не дотянуть до конца недели, что в жестянке с сахаром виднеется дно, обёртки с чаем и кофе почти пусты, нет масла, и единственное, на чём, с некоторой досадой на исключение, отдыхал глаз, — был мешок картофеля. Затем она вымыла пол и села строчить оборку к переделанной из старья юбке, но, тут же вспомнив, что обрезки материи лежат за зеркалом, подошла к нему и взяла свёрток; потом взглянула на своё отражение.

За ореховой рамой в светлой пустоте отражённой комнаты стояла тоненькая невысокая девушка, одетая в дешёвый белый муслин с розовыми цветочками. На её плечах лежала серая шёлковая косынка. Полудетское, в светлом загаре лицо было подвижно и выразительно; прекрасные, несколько серьёзные для её возраста глаза посматривали с робкой сосредоточенностью глубоких душ. Её неправильное личико могло растрогать тонкой чистотой очертаний; каждый изгиб, каждая выпуклость этого лица, конечно, нашли бы место в множестве женских обликов, но их совокупность, стиль — был совершенно

оригинален, — оригинально мил; на этом мы остановимся. Остальное неподвластно словам, кроме слова «очарование».

Отражённая девушка улыбнулась так же безотчётно, как и Ассоль. Улыбка вышла грустной; заметив это, она встревожилась, как если бы смотрела на постороннюю. Она прижалась щекой к стеклу, закрыла глаза и тихо погладила зеркало рукой там, где приходилось её отражение. Рой смутных, ласковых мыслей мелькнул в ней; она выпрямилась, засмеялась и села, начав шить.

Пока она шьёт, посмотрим на неё ближе — вовнутрь. В ней две девушки, две Ассоль, перемешанных в замечательной прекрасной неправильности. Одна была дочь матроса, ремесленника, мастерившая игрушки, другая — живое стихотворение, со всеми чудесами его созвучий и образов, с тайной соседства слов, во всей взаимности их теней и света, падающих от одного на другое. Она знала жизнь в пределах, поставленных её опыту, но сверх общих явлений видела отражённый смысл иного порядка. Так, всматриваясь в предметы, мы замечаем в них нечто не линейно, но впечатлением — определённо человеческое и — так же, как человеческое — различное. Нечто подобное тому, что (если удалось)

сказали мы этим примером, видела она ещё сверх видимого. Без этих тихих завоеваний всё просто понятное было чуждо её душе. Она умела и любила читать, но и в книге читала преимущественно между строк, как жила. Бессознательно, путём своеобразного вдохновения она делала на каждом шагу множество эфирно-тонких открытий, невыразимых, но важных, как чистота и тепло. Иногда — и это продолжалось ряд дней — она даже перерождалась; физическое противостояние жизни проваливалось, как тишина в ударе смычка, и всё, что она видела, чем жила, что было вокруг, становилось кружевом тайн в образе повседневности. Не раз, волнуясь и робея, она уходила ночью на морской берег, где, выждав рассвет, совершенно серьёзно высматривала корабль с алыми парусами. Эти минуты были для неё счастьем; нам трудно так уйти в сказку, ей было бы не менее трудно выйти из её власти и обаяния.

В другое время, размышляя обо всём этом, она искренно дивилась себе, не веря, что верила, улыбкой прощая море и грустно переходя к действительности; теперь, сдвигая оборку, девушка припоминала свою жизнь. Там было много скуки и простоты. Одиночество вдвоём, случалось,

безмерно тяготило её, но в ней образовалась уже та складка внутренней робости, та страдальческая морщинка, с которой не внести и не получить оживления. Над ней посмеивались, говоря: «Она тронутая, не в себе»; она привыкла и к этой боли; девушке случалось даже переносить оскорбления, после чего её грудь ныла, как от удара. Как женщина она была непопулярна в Каперне, однако многие подозревали, хотя дико и смутно, что ей дано больше прочих — лишь на другом языке. Капернцы обожали плотных, тяжёлых женщин с масляной кожей толстых икр и могучих рук; здесь ухаживали, ляпая по спине ладонью и толкаясь, как на базаре. Тип этого чувства напоминал бесхитростную простоту рёва. Ассоль так же подходила к этой решительной среде, как подошло бы людям изысканной нервной жизни общество привидения, обладай оно всем обаянием Ассунты или Аспазии: то, что от любви, — здесь немыслимо. Так в ровном гудении солдатской трубы прелестная печаль скрипки бессильна вывести суровый полк из действий его прямых линий. К тому, что сказано в этих строках, девушка стояла спиной.

Меж тем, как её голова мурлыкала песенку жизни, маленькие руки работали прилежно и ловко;

откусывая нитку, она смотрела далеко перед собой, но это не мешало ей ровно подвёртывать рубец и класть петельный шов с отчётливостью швейной машины. Хотя Лонгрен не возвращался, она не беспокоилась об отце. Последнее время он довольно часто уплывал ночью ловить рыбу или просто проветриться.

Её не теребил страх; она знала, что ничего худого с ним не случится. В этом отношении Ассоль была всё ещё той маленькой девочкой, которая молилась по-своему, дружелюбно лепеча утром: «Здравствуй, бог!», а вечером: «Прощай, бог!»

По её мнению, такого короткого знакомства с богом было совершенно достаточно для того, чтобы он отстранил несчастье. Она входила и в его положение: бог был вечно занят делами миллионов людей, поэтому к обыденным теням жизни следовало, по её мнению, относиться с деликатным терпением гостя, который, застав дом полным народа, ждёт захлопотавшегося хозяина, ютясь и питаясь по обстоятельствам.

Кончив шить, Ассоль сложила работу на угловой столик, разделась и улеглась. Огонь был потушен. Она скоро заметила, что нет сонливости; сознание было ясно, как в разгаре дня, даже тьма казалась искусственной, тело, как и созна-

ние, чувствовалось лёгким, дневным. Сердце отстукивало с быстротой карманных часов; оно билось как бы между подушкой и ухом. Ассоль сердилась, ворочаясь, то сбрасывая одеяло, то завёртываясь в него с головой. Наконец ей удалось вызвать привычное представление, помогающее уснуть: она мысленно бросала камни в светлую воду, смотря на расхождение легчайших кругов. Сон, действительно, как бы лишь ждал этой подачки; он пришёл, пошептался с Мери, стоящей у изголовья, и, повинуясь её улыбке, сказал вокруг: «Ш-ш-ш-ш». Ассоль тотчас уснула. Ей снился любимый сон: цветущие деревья, тоска, очарование, песни и таинственные явления, из которых, проснувшись, она припоминала лишь сверканье синей воды, подступающей от ног к сердцу с холодом и восторгом. Увидев всё это, она побыла ещё несколько времени в невозможной стране, затем проснулась и села.

Сна не было, как если бы она не засыпала совсем. Чувство новизны, радости и желания что-то сделать согревало её. Она осмотрелась тем взглядом, каким оглядывают новое помещение. Проник рассвет — не всей ясностью озарения, но тем смутным усилием, в котором можно понимать окружающее. Низ окна был чёрен;

верх просветлел. Извне дома, почти на краю рамы, блестела утренняя звезда. Зная, что теперь не уснёт, Ассоль оделась, подошла к окну и, сняв крюк, отвела раму. За окном стояла внимательная, чуткая тишина; она как бы наступила только сейчас. В синих сумерках мерцали кусты, подальше спали деревья; веяло духотой и землёй.

Держась за верх рамы, девушка смотрела и улыбалась. Вдруг нечто, подобное отдалённому зову, всколыхнуло её изнутри и вовне, и она как бы проснулась ещё раз от явной действительности к тому, что явнее и несомненнее. С этой минуты ликующее богатство сознания не оставляло её. Так, понимая, слушаем мы речи людей, но, если повторить сказанное, поймём ещё раз, с иным, новым значением. То же было и с ней.

Взяв старенькую, но на её голове всегда юную шёлковую косынку, она прихватила её рукою под подбородком, заперла дверь и выпорхнула босиком на дорогу. Хотя было пусто и глухо, но ей казалось, что она звучит как оркестр, что её могут услышать. Всё было мило ей, всё радовало её. Тёплая пыль щекотала босые ноги; дышалось ясно и весело. На сумеречном просвете неба темнели крыши и облака; дремали изгороди, шиповник, огороды, сады и нежно видимая дорога. Во всём

замечался иной порядок, чем днём, — тот же, но в ускользнувшем ранее соответствии. Всё спало с открытыми глазами, тайно рассматривая проходящую девушку.

Она шла, чем далее, тем быстрей, торопясь покинуть селение. За Каперной простирались луга; за лугами по склонам береговых холмов росли орешник, тополи и каштаны. Там, где дорога кончилась, переходя в глухую тропу, у ног Ассоль мягко завертелась пушистая чёрная собака с белой грудью и говорящим напряжением глаз. Собака, узнав Ассоль, повизгивая и жеманно виляя туловищем, пошла рядом, молча соглашаясь с девушкой в чём-то понятном, как «я» и «ты». Ассоль, посматривая в её сообщительные глаза, была твёрдо уверена, что собака могла бы заговорить, не будь у неё тайных причин молчать. Заметив улыбку спутницы, собака весело сморщилась, вильнула хвостом и ровно побежала вперёд, но вдруг безучастно села, деловито выскребла лапой ухо, укушенное своим вечным врагом, и побежала обратно.

Ассоль проникла в высокую, брызгающую росой луговую траву; держа руку ладонью вниз над её метёлками, она шла, улыбаясь струящемуся прикосновению. Засматривая в особенные

лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намёки — позы, усилия, движения, черты и взгляды; её не удивила бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем. И точно, ёж, серея, выкатился перед ней на тропинку. «Фук-фук», — отрывисто сказал он с сердцем, как извозчик на пешехода. Ассоль говорила с теми, кого понимала и видела. «Здравствуй, больной», — сказала она лиловому ирису, пробитому до дыр червём. «Необходимо посидеть дома», — это относилось к кусту, застрявшему среди тропы и потому обдёрганному платьем прохожих. Большой жук цеплялся за колокольчик, сгибая растение и сваливаясь, но упрямо толкаясь лапками. «Стряхни толстого пассажира», — посоветовала Ассоль. Жук, точно, не удержался и с треском полетел в сторону. Так, волнуясь, трепеща и блестя, она подошла к склону холма, скрывшись в его зарослях от лугового пространства, но окружённая теперь истинными своими друзьями, которые — она знала это — говорят басом.

То были крупные старые деревья среди жимолости и орешника. Их свисшие ветви касались верхних листьев кустов. В спокойно тяготеющей

крупной листве каштанов стояли белые шишки цветов, их аромат мешался с запахом росы и смолы. Тропинка, усеянная выступами скользких корней, то падала, то взбиралась на склон. Ассоль чувствовала себя, как дома; здоровалась с деревьями, как с людьми, то есть пожимая их широкие листья. Она шла, шепча то мысленно, то словами: «Вот ты, вот другой ты; много же вас, братцы мои! Я иду, братцы, спешу, пустите меня. Я вас узнаю всех, всех помню и почитаю». «Братцы» величественно гладили её чем могли — листьями — и родственно скрипели в ответ. Она выбралась, перепачкав ноги землёй, к обрыву над морем и встала на краю обрыва, задыхаясь от поспешной ходьбы. Глубокая непобедимая вера, ликуя, пенилась и шумела в ней. Она разбрасывала её взглядом за горизонт, откуда лёгким шумом береговой волны возвращалась она обратно, гордая чистотой полёта. Тем временем море, обведённое по горизонту золотой нитью, ещё спало; лишь под обрывом, в лужах береговых ям, вздымалась и опадала вода. Стальной у берега цвет спящего океана переходил в синий и чёрный. За золотой нитью небо, вспыхивая, сияло огромным веером света; белые облака тронулись слабым румянцем. Тонкие, божественные

цвета светились в них. На чёрной дали легла уже трепетная снежная белизна; пена блестела, и багровый разрыв, вспыхнув средь золотой нити, бросил по океану, к ногам Ассоль, алую рябь.

Она села, подобрав ноги, с руками вокруг колен. Внимательно наклоняясь к морю, смотрела она на горизонт большими глазами, в которых не осталось уже ничего взрослого, — глазами ребёнка. Всё, чего она ждала так долго и горячо, делалось там — на краю света. Она видела в стране далёких пучин подводный холм; от поверхности его струились вверх вьющиеся растения; среди их круглых листьев, пронизанных у края стеблем, сияли причудливые цветы. Верхние листья блестели на поверхности океана; тот, кто ничего не знал, как знала Ассоль, видел лишь трепет и блеск.

Из заросли поднялся корабль; он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он пылал, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шёл прямо к Ассоль. Крылья пены трепетали под мощным напором его киля; уже встав, девушка прижала руки к груди, как чудная игра света перешла в зыбь; взошло солнце, и яркая полнота утра сдёрнула

покровы с всего, что ещё нежилось, потягиваясь на сонной земле.

Девушка вздохнула и осмотрелась. Музыка смолкла, но Ассоль была ещё во власти её звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Она легла на траву, зевнула и, блаженно закрыв глаза, уснула — по-настоящему, крепким, как молодой орех, сном, без заботы и сновидений.

Её разбудила муха, бродившая по голой ступне. Беспокойно повертев ножкой, Ассоль проснулась; сидя, закалывала она растрёпанные волосы, поэтому кольцо Грэя напомнило о себе, но считая его не более как стебельком, застрявшим меж пальцев, она распрямила их; так как помеха не исчезла, она нетерпеливо поднесла руку к глазам и выпрямилась, мгновенно вскочив с силой брызнувшего фонтана.

На её пальце блестело лучистое кольцо Грэя, как на чужом, — своим не могла признать она в этот момент, не чувствовала палец свой. «Чья это шутка? Чья шутка? — стремительно вскричала она. — Разве я сплю? Может быть, нашла и забыла?» Схватив левой рукой правую, на которой было кольцо, с изумлением осмат-

ривалась она, пытая взглядом море и зелёные заросли; но никто не шевелился, никто не притаился в кустах, и в синем, далеко озарённом море не было никакого знака, и румянец покрыл Ассоль, а голоса сердца сказали вещее «да». Не было объяснений случившемуся, но без слов и мыслей находила она их в странном чувстве своём, и уже близким ей стало кольцо. Вся дрожа, сдёрнула она его с пальца; держа в пригоршне, как воду, рассмотрела его она — всею душою, всем сердцем, всем ликованием и ясным суеверием юности, затем, спрятав за лиф, Ассоль уткнула лицо в ладони, из-под которых неудержимо рвалась улыбка, и, опустив голову, медленно пошла обратной дорогой.

Так — случайно, как говорят люди, умеющие читать и писать, — Грэй и Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности.

Глава V
Боевые приготовления

Когда Грэй поднялся на палубу «Секрета», он несколько минут стоял неподвижно, поглаживая рукой голову сзади на лоб, что означало крайнее замешательство. Рассеянность — облачное движение чувств — отражалась в его лице бесчувственной улыбкой лунатика. Его помощник Пантен шёл в это время по шканцам с тарелкой жареной рыбы; увидев Грэя, он заметил странное состояние капитана.

— Вы, быть может, ушиблись? — осторожно спросил он. — Где были? Что видели? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт; с премией. Да что с вами такое?..

— Благодарю, — сказал Грэй, вздохнув, как развязанный. — Мне именно недоставало звуков вашего простого, умного голоса. Это как холодная вода. Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы, миль десять отсюда. Её течение перебито сплошными мелями. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой. Лоцмана

не брать. Пока всё… Да, выгодный фрахт мне нужен как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера.

— Что же случилось?

— Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению моё желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чём дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт; что местный док занят.

— Хорошо, — бессмысленно сказал Пантен в спину уходящего Грэя. — Будет исполнено.

Хотя распоряжения капитана были вполне толковы, помощник вытаращил глаза и беспокойно помчался с тарелкой к себе в каюту, бормоча: «Пантен, тебя озадачили. Не хочет ли он попробовать контрабанды? Не выступаем ли мы под чёрным флагом пирата?» Но здесь Пантен запутался в самых диких предположениях. Пока он нервически уничтожал рыбу, Грэй спустился в каюту, взял деньги и, переехав бухту, появился в торговых кварталах Лисса.

Теперь он действовал уже решительно и покойно, до мелочи зная всё, что предстоит на чудном пути. Каждое движение, мысль, действие — грели его тонким наслаждением художественной рабо-

ты. Его план сложился мгновенно и выпукло. Его понятия о жизни подверглись тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своём прекрасном сиянии.

Грэй побывал в трёх лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие; в третьей он нашёл образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грэй был серьёзен, как анатом. Он терпеливо разбирал свёртки, откладывал, сдвигал, развёртывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грэя легла пурпурная волна; на его руках и лице блестел розовый отсвет. Роясь в лёгком сопротивлении шёлка, он различал цвета: красный, бледный розовый и розовый тёмный; густые закипи вишнёвых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов; здесь были оттенки всех сил и значений, различные в своём мнимом родстве, подобно словам: «очаровательно» — «прекрасно» — «великолепно» — «совершенно»; в складках таились намёки, недоступные языку

зрения, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана; что приносил лавочник, было хорошо, но не вызывало ясного и твёрдого «да». Наконец, один цвет привлёк обезоруженное внимание покупателя; он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шёлка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь, с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен.

Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грэй. В нём не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намёков; не было также ни синевы, ни тени — ничего, что вызывает сомнение. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения. Грэй так задумался, что позабыл о хозяине, ожидавшем за его спиной с напряжением охотничьей собаки, сделавшей стойку. Устав ждать, торговец напомнил о себе треском оторванного куска материи.

— Довольно образцов, — сказал Грэй, вставая, — этот шёлк я беру.

— Весь кусок? — почтительно сомневаясь, спросил торговец. Но Грэй молча смотрел ему в лоб, отчего хозяин лавки сделался немного

развязнее. — В таком случае сколько метров?

Грэй кивнул, приглашая повременить, и высчитал карандашом на бумаге требуемое количество.

— Две тысячи метров. — Он с сомнением осмотрел полки. — Да, не более двух тысяч метров.

— Две? — сказал хозяин, судорожно подскакивая, как пружинный. — Тысячи? Метров? Прошу вас сесть, капитан. Не желаете ли взглянуть, капитан, образцы новых материй? Как вам будет угодно. Вот спички, вот прекрасный табак; прошу вас. Две тысячи… две тысячи по… — Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому «да», но Грэй был доволен, так как не хотел ни в чём торговаться. — Удивительный, наилучший шёлк, — продолжал лавочник, — товар вне сравнения, только у меня найдёте такой.

Когда он наконец весь изошёл восторгом, Грэй договорился с ним о доставке, взяв на свой счёт издержки, уплатил по счёту и ушёл, провожаемый хозяином с почестями китайского короля. Тем временем через улицу от того места, где была лавка, бродячий музыкант, настроив виолончель, заставил её тихим смычком говорить грустно и хорошо; его товарищ, флейтист, осыпал

пение струн лепетом горлового свиста; простая песенка, которою они огласили дремлющий в жаре двор, достигла ушей Грэя, и тотчас он понял, что следует ему делать дальше. Вообще все эти дни он был на той счастливой высоте духовного зрения, с которой отчётливо замечались им все намёки и подсказы действительности; услыша заглушаемые ездой экипажей звуки, он вошёл в центр важнейших впечатлений и мыслей, вызванных, сообразно его характеру, этой музыкой, уже чувствуя, почему и как выйдет хорошо то, что придумал. Миновав переулок, Грэй прошёл в ворота дома, где состоялось музыкальное выступление. К тому времени музыканты собрались уходить; высокий флейтист с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. Виолончель уже вернулась под мышку своего хозяина; тот, вытирая вспотевший лоб, дожидался флейтиста.

— Ба, да это ты, Циммер! — сказал ему Грэй, признавая скрипача, который по вечерам веселил своей прекрасной игрой моряков, гостей трактира «Деньги на бочку». — Как же ты изменил скрипке?

— Досточтимый капитан, — самодовольно возразил Циммер, — я играю на всём, что звучит

и трещит. В молодости я был музыкальным клоуном. Теперь меня тянет к искусству, и я с горем вижу, что погубил незаурядное дарование. Поэтому-то я из поздней жадности люблю сразу двух: виолу и скрипку. На виолончели играю днём, а на скрипке по вечерам, то есть как бы плачу, рыдаю о погибшем таланте. Не угостите ли винцом, э? Виолончель — это моя Кармен, а скрипка…

— Ассоль, — сказал Грэй.

Циммер не расслышал.

— Да, — кивнул он, — соло на тарелках или медных трубочках — другое дело. Впрочем, что мне?! Пусть кривляются паяцы искусства — я знаю, что в скрипке и виолончели всегда отдыхают феи.

— А что скрывается в моём «тур-люр-лю»? — спросил подошедший флейтист, рослый детина с бараньими голубыми глазами и белокурой бородой. — Ну-ка, скажи?

— Смотря по тому, сколько ты выпил с утра. Иногда — птица, иногда — спиртные пары. Капитан, это мой компаньон Дусс; я говорил ему, как вы сорите золотом, когда пьёте, и он заочно влюблён в вас.

— Да, — сказал Дусс, — я люблю жест и щедрость. Но я хитёр, не верьте моей гнусной лести.

— Вот что, — сказал, смеясь, Грэй. — У меня

мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. Соберите оркестр, но не из щёголей с парадными лицами мертвецов, которые в музыкальном буквоедстве или — что ещё хуже — в звуковой гастрономии забыли о душе музыки и тихо мертвят эстрады своими замысловатыми шумами, — нет. Соберите своих, заставляющих плакать простые сердца кухарок и лакеев; соберите своих бродяг. Море и любовь не терпят педантов. Я с удовольствием посидел бы с вами, и даже не за одной бутылкой, но нужно идти. У меня много дела. Возьмите это и пропейте за букву А. Если вам нравится моё предложение, приезжайте повечеру на «Секрет»; он стоит неподалёку от головной дамбы.

— Согласен! — вскричал Циммер, зная, что Грэй платит, как царь. — Дусс, кланяйся, скажи «да» и верти шляпой от радости! Капитан Грэй хочет жениться!

— Да, — просто сказал Грэй. — Все подробности я вам сообщу на «Секрете». Вы же…

— За букву А! — Дусс, толкнув локтем Циммера, подмигнул Грэю. — Но… как много букв в алфавите! Пожалуйте что-нибудь и на фиту…[18]

---

[18] Notes: 18

Фита́ — предпоследняя, 34-я, буква дореволюционного русского алфавита. Обозначалась знаком Ѳ.

Грэй дал ещё денег. Музыканты ушли. Тогда он зашёл в комиссионную контору и дал тайное поручение за крупную сумму — выполнить срочно, в течение шести дней. В то время, как Грэй вернулся на свой корабль, агент конторы уже садился на пароход. К вечеру привезли шёлк; пять парусников, нанятых Грэем, поместились с матросами; ещё не вернулся Летика и не прибыли музыканты; в ожидании их Грэй отправился потолковать с Пантеном.

Следует заметить, что Грэй в течение нескольких лет плавал с одним составом команды. Вначале капитан удивлял матросов капризами неожиданных рейсов, остановок — иногда месячных — в самых неторговых и безлюдных местах, но постепенно они прониклись «грэизмом» Грэя. Он часто плавал с одним балластом, отказываясь брать выгодный фрахт только потому, что не нравился ему предложенный груз. Никто не мог уговорить его везти мыло, гвозди, части машин и другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скучной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шёлк, ценные породы деревьев: чёрное, сандал, пальму. Всё это отвечало аристократизму его воображения,

создавая живописную атмосферу; неудивительно, что команда «Секрета», воспитанная, таким образом, в духе своеобразности, посматривала несколько свысока на все иные суда, окутанные дымом плоской наживы. Всё-таки на этот раз Грэй встретил вопросы в физиономиях; самый тупой матрос отлично знал, что нет надобности производить ремонт в русле лесной реки.

Пантен, конечно, сообщил им приказание Грэя; когда тот вошёл, помощник его докуривал шестую сигару, бродя по каюте, ошалев от дыма и натыкаясь на стулья. Наступал вечер; сквозь открытый иллюминатор торчала золотистая балка света, в которой вспыхнул лакированный козырёк капитанской фуражки.

— Всё готово, — мрачно сказал Пантен. — Если хотите, можно поднимать якорь.

— Вы должны бы, Пантен, знать меня несколько лучше, — мягко заметил Грэй. — Нет тайны в том, что я делаю. Как только мы бросим якорь на дно Лилианы, я расскажу всё, и вы не будете тратить так много спичек на плохие сигары. Ступайте, снимайтесь с якоря.

Пантен, неловко усмехаясь, почесал бровь.

— Это, конечно, так, — сказал он. — Впрочем, я ничего.

Когда он вышел, Грэй посидел несколько времени, неподвижно смотря в полуоткрытую дверь, затем перешёл к себе. Здесь он то сидел, то ложился; то, прислушиваясь к треску брашпиля, выкатывающего громкую цепь, собирался выйти на бак, но вновь задумывался и возвращался к столу, чертя по клеёнке пальцем прямую быструю линию. Удар кулаком в дверь вывел его из маниакального состояния; он повернул ключ, впустив Летику. Матрос, тяжело дыша, остановился с видом гонца, вовремя предупредившего казнь.

— «Лети-ка, Летика», — сказал я себе, — быстро заговорил он, — когда я с кабельного мола увидел, как танцуют вокруг брашпиля наши ребята, поплёвывая в ладони. У меня глаз, как у орла. И я полетел; я так дышал на лодочника, что человек вспотел от волнения. Капитан, вы хотели оставить меня на берегу?

— Летика, — сказал Грэй, присматриваясь к его красным глазам, — я ожидал тебя не позже утра. Лил ли ты на затылок холодную воду?

— Лил. Не столько, сколько было принято внутрь, но лил. Всё сделано.

— Говори.

— Не стоит говорить, капитан; вот здесь всё

записано. Берите и читайте. Я очень старался. Я уйду.

— Куда?

— Я вижу по укоризне глаз ваших, что ещё мало лил на затылок холодной воды.

Он повернулся и вышел со странными движениями слепого. Грэй развернул бумажку; карандаш, должно быть, дивился, когда выводил по ней эти чертежи, напоминающие расшатанный забор. Вот что писал Летика: «Сообразно инструкции. После пяти часов ходил по улице. Дом с серой крышей, по два окна сбоку; при нём огород. Означенная особа приходила два раза: за водой раз, за щепками для плиты два. По наступлении темноты проник взглядом в окно, но ничего не увидел по причине занавески».

Затем следовало несколько указаний семейного характера, добытых Летикой, видимо, путём застольного разговора, так как меморий заканчивался, несколько неожиданно, словами: «В счёт расходов приложил малость своих».

Но существо этого донесения говорило лишь о том, что мы знаем из первой главы. Грэй положил бумажку в стол, свистнул вахтенного и послал за Пантеном, но вместо помощника явился боцман Атвуд, обдёргивая засученные

рукава.

— Мы ошвартовались у дамбы, — сказал он. — Пантен послал узнать, что вы хотите. Он занят: на него напали там какие-то люди с трубами, барабанами и другими скрипками. Вы звали их на «Секрет»? Пантен просит вас прийти, говорит, у него туман в голове.

— Да, Атвуд, — сказал Грэй, — я, точно, звал музыкантов; подите, скажите им, чтобы шли пока в кубрик[19]. Далее будет видно, как их устроить. Атвуд, скажите им и команде, что я выйду на палубу через четверть часа. Пусть соберутся; вы и Пантен, разумеется, тоже послушаете меня.

Атвуд взвёл, как курок, левую бровь, постоял боком у двери и вышел. Эти десять минут Грэй провёл, закрыв руками лицо; он ни к чему не приготовлялся и ничего не рассчитывал, но хотел мысленно помолчать. Тем временем его ждали уже все, нетерпеливо и с любопытством, полным догадок. Он вышел и увидел по лицам ожидание невероятных вещей, но так как сам находил совершающееся вполне естественным, то напряжение чужих душ отразилось в нём лёгкой досадой.

---

[19] Notes: 19
Кубрик — общая матросская каюта.

— Ничего особенного, — сказал Грэй, присаживаясь на трап мостика. — Мы простоим в устье реки до тех пор, пока не сменим весь такелаж. Вы видели, что привезён красный шёлк; из него под руководством парусного мастера Блента смастерят «Секрету» новые паруса. Затем мы отправимся, но куда — не скажу; во всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к жене. Она ещё не жена мне, но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы ещё издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот и всё. Как видите, здесь нет ничего таинственного. И довольно об этом.

— Да, — сказал Атвуд, видя по улыбающимся лицам матросов, что они приятно озадачены и не решаются говорить. — Так вот в чём дело, капитан… Не нам, конечно, судить об этом. Как желаете, так и будет. Я поздравляю вас.

— Благодарю! — Грэй сильно сжал руку боцмана, но тот, сделав невероятное усилие, ответил таким пожатием, что капитан уступил. После этого подошли все, сменяя друг друга застенчивой теплотой взгляда и бормоча поздравления. Никто не крикнул, не зашумел — нечто не совсем простое чувствовали матросы в отрывистых словах капитана. Пантен облегчённо вздохнул и повеселел — его душевная тяжесть растаяла. Один

корабельный плотник остался чем-то недоволен: вяло подержав руку Грэя, он мрачно спросил:

— Как это вам пришло в голову, капитан?

— Как удар твоего топора, — сказал Грэй. — Циммер! Покажи своих ребятишек.

Скрипач, хлопая по спине музыкантов, вытолкнул семь человек, одетых крайне неряшливо.

— Вот, — сказал Циммер, — это — тромбон; не играет, а палит, как из пушки. Эти два безусых молодца — фанфары; как заиграют, так сейчас же хочется воевать. Затем кларнет, корнет-а-пистон и вторая скрипка. Все они — великие мастера обнимать резвую приму, то есть меня. А вот и главный хозяин нашего весёлого ремесла — Фриц, барабанщик. У барабанщиков, знаете, обычно — разочарованный вид, но этот бьёт с достоинством, с увлечением. В его игре есть что-то открытое и прямое, как его палки. Так ли всё сделано, капитан Грэй?

— Изумительно, — сказал Грэй. — Всем вам отведено место в трюме, который на этот раз, значит, будет погружён разными «скерцо», «адажио» и «фортиссимо». Разойдитесь. Пантен, снимайте швартовы, трогайтесь. Я вас сменю через два часа.

Этих двух часов он не заметил, так как они

прошли всё в той же внутренней музыке, не оставлявшей его сознания, как пульс не оставляет артерий. Он думал об одном, хотел одного, стремился к одному. Человек действия, он мысленно опережал ход событий, жалея лишь о том, что ими нельзя двигать так же просто и скоро, как шашками. Ничто в спокойной наружности его не говорило о том напряжении чувства, гул которого, подобно гулу огромного колокола, бьющего над головой, мчался во всём его существе оглушительным нервным стоном. Это довело его наконец до того, что он стал считать мысленно: «Один… два… тридцать…» и так далее, пока не сказал «тысяча». Такое упражнение подействовало: он был способен наконец взглянуть со стороны на всё предприятие. Здесь несколько удивило его то, что он не может представить внутреннюю Ассоль, так как даже не говорил с ней. Он читал где-то, что можно, хотя бы смутно, понять человека, если, вообразив себя этим человеком, скопировать выражение его лица. Уже глаза Грэя начали принимать несвойственное им странное выражение, а губы под усами складываться в слабую, кроткую улыбку, как, опомнившись, он расхохотался и вышел сменить Пантена.

Было темно. Пантен, подняв воротник куртки, ходил у компаса, говоря рулевому: «Лево четверть румба; лево. Стой: ещё четверть». «Секрет» шёл с половиною парусов при попутном ветре.

— Знаете, — сказал Пантен Грэю, — я доволен.

— Чем?

— Тем же, чем и вы. Я всё понял. Вот здесь, на мостике. — Он хитро подмигнул, светя улыбке огнём трубки.

— Ну-ка, — сказал Грэй, внезапно догадавшись, в чём дело, — что вы там поняли?

— Лучший способ провезти контрабанду, — шепнул Пантен. — Всякий может иметь такие паруса, какие хочет. У вас гениальная голова, Грэй!

— Бедный Пантен! — сказал капитан, не зная, сердиться или смеяться. — Ваша догадка остроумна, но лишена всякой основы. Идите спать. Даю вам слово, что вы ошибаетесь. Я делаю то, что сказал.

Он отослал его спать, сверился с направлением курса и сел. Теперь мы его оставим, так как ему нужно быть одному.

Глава VI
Ассоль остаётся одна

Лонгрен провёл ночь в море; он не спал, не ловил, а шёл под парусом без определённого направления, слушая плеск воды, смотря в тьму, обветриваясь и думая. В тяжёлые часы жизни ничто так не восстанавливало силы его души, как эти одинокие блужданья. Тишина, только тишина и безлюдье — вот что нужно было ему для того, чтобы все самые слабые и спутанные голоса внутреннего мира зазвучали понятно. Эту ночь он думал о будущем, о бедности, об Ассоль. Ему было крайне трудно покинуть её даже на время; кроме того, он боялся воскресить утихшую боль. Быть может, поступив на корабль, он снова вообразит, что там, в Каперне, его ждёт не умиравший никогда друг, и, возвращаясь, он будет подходить к дому с горем мёртвого ожидания. Мери никогда больше не выйдет из дверей дома. Но он хотел, чтобы у Ассоль было что есть, решив поэтому поступить так, как приказывает забота.

Когда Лонгрен вернулся, девушки ещё не было дома. Её ранние прогулки не смущали отца;

на этот раз, однако, в его ожидании была лёгкая напряжённость. Похаживая из угла в угол, он на повороте вдруг сразу увидел Ассоль; вошедшая стремительно и неслышно, она молча остановилась перед ним, почти испугав его светом взгляда, отразившего возбуждение. Казалось, открылось её второе лицо — то истинное лицо человека, о котором обычно говорят только глаза. Она молчала, смотря в лицо Лонгрену так непонятно, что он быстро спросил:

— Ты больна?

Она не сразу ответила. Когда смысл вопроса коснулся наконец её духовного слуха, Ассоль встрепенулась, как ветка, тронутая рукой, и засмеялась долгим, ровным смехом тихого торжества. Ей надо было сказать что-нибудь, но, как всегда, не требовалось придумывать — что именно; она сказала:

— Нет, я здорова… Почему ты так смотришь? Мне весело. Верно, мне весело, но это оттого, что день так хорош. А что ты надумал? Я уж вижу по твоему лицу, что ты что-то надумал.

— Что бы я ни надумал, — сказал Лонгрен, усаживая девушку на колени, — ты, я знаю, поймёшь, в чём дело. Жить нечем. Я не пойду снова в дальнее плавание, а поступлю на почтовый

пароход, что ходит между Кассетом и Лиссом.

— Да, — издалека сказала она, силясь войти в его заботы и дело, но ужасаясь, что бессильна перестать радоваться. — Это очень плохо. Мне будет скучно. Возвратись поскорей. — Говоря так, она расцветала неудержимой улыбкой. — Да, поскорей, милый; я жду.

— Ассоль! — сказал Лонгрен, беря ладонями её лицо и поворачивая к себе. — Выкладывай, что случилось?

Она почувствовала, что должна выветрить его тревогу, и, победив ликование, сделалась серьёзно-внимательной, только в её глазах блестела ещё новая жизнь.

— Ты странный, — сказала она. — Решительно ничего. Я собирала орехи.

Лонгрен не вполне поверил бы этому, не будь он так занят своими мыслями. Их разговор стал деловым и подробным. Матрос сказал дочери, чтобы она уложила его мешок; перечислил все необходимые вещи и дал несколько советов.

— Я вернусь домой дней через десять, а ты заложи моё ружьё и сиди дома. Если кто захочет тебя обидеть, скажи: «Лонгрен скоро вернётся». Не думай и не беспокойся обо мне; худого ничего не случится.

После этого он поел, крепко поцеловал девушку и, вскинув мешок за плечи, вышел на городскую дорогу. Ассоль смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом; затем вернулась. Немало домашних работ предстояло ей, но она забыла об этом. С интересом лёгкого удивления осматривалась она вокруг, как бы уже чужая этому дому, так влитому в сознание с детства, что казалось — всегда носила его в себе, а теперь выглядевшему подобно родным местам, посещённым спустя ряд лет из круга жизни иной. Но что-то недостойное почудилось ей в этом своём отпоре, что-то неладное. Она села к столу, на котором Лонгрен мастерил игрушки, и попыталась приклеить руль к корме; смотря на эти предметы, невольно увидела она их большими, настоящими; всё, что случилось утром, снова поднялось в ней дрожью волнения, и золотое кольцо, величиной с солнце, упало через море к её ногам.

Не усидев, она вышла из дома и пошла в Лисс. Ей совершенно нечего было там делать; она не знала, зачем идёт, но не идти — не могла. По дороге ей встретился пешеход, желавший разведать какое-то направление; она толково объяснила ему, что нужно, и тотчас же забыла об этом.

Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую всё её нежное внимание. У города она немного развлеклась шумом, летевшим с его огромного круга, но он был не властен над ней, как раньше, когда, пугая и забивая, делал её молчаливой трусихой. Она противостояла ему. Она медленно прошла кольцеобразный бульвар, пересекая синие тени деревьев, доверчиво и легко взглядывая на лица прохожих, ровной походкой, полной уверенности. Порода наблюдательных людей в течение дня замечала неоднократно неизвестную, странную на взгляд девушку, проходящую среди яркой толпы с видом глубокой задумчивости. На площади она подставила руку струе фонтана, перебирая пальцами среди отражённых брызг; затем, присев, отдохнула и вернулась на лесную дорогу. Обратный путь она сделала со свежей душой, в настроении мирном и ясном, подобно вечерней речке, сменившей наконец пёстрые зеркала дня ровным в тени блеском. Приближаясь к селению, она увидала того самого угольщика, которому померещилось, что у него зацвела корзина; он стоял возле повозки с двумя неизвестными мрачными людьми, покрытыми сажей и грязью. Ассоль обрадовалась.

— Здравствуй, Филипп, — сказала она, — что ты здесь делаешь?

— Ничего, муха. Свалилось колесо; я его поправил, теперь покуриваю да калякаю с нашими ребятами. Ты откуда?

Ассоль не ответила.

— Знаешь, Филипп, — заговорила она, — я тебя очень люблю, и потому скажу только тебе. Я скоро уеду; наверное, уеду совсем. Ты не говори никому об этом.

— Это ты хочешь уехать? Куда же ты собралась? — изумился угольщик, вопросительно раскрыв рот, отчего его борода стала длиннее.

— Не знаю. — Она медленно осмотрела поляну под вязом, где стояла телега, — зелёную в розовом вечернем свете траву, чёрных молчаливых угольщиков и, подумав, прибавила: — Всё это мне неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа и даже не знаю куда. Больше ничего не скажу. Поэтому, на всякий случай, — прощай; ты часто меня возил.

Она взяла огромную чёрную руку и привела её в состояние относительного трясения. Лицо рабочего разверзло трещину неподвижной улыбки. Девушка кивнула, повернулась и отошла. Она исчезла так быстро, что Филипп и его приятели

не успели повернуть голову.

— Чудеса, — сказал угольщик, — поди-ка, пойми её. Что-то с ней сегодня… такое и прочее.

— Верно, — поддержал второй, — не то она говорит, не то — уговаривает. Не наше дело.

— Не наше дело, — сказал и третий, вздохнув. Затем все трое сели в повозку и, затрещав колёсами по каменистой дороге, скрылись в пыли.

Глава VII
Алый «секрет»

Был белый утренний час; в огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений. Неизвестный охотник, только что покинувший свой костёр, двигался вдоль реки; сквозь деревья сиял просвет её воздушных пустот, но прилежный охотник не подходил к ним, рассматривая свежий след медведя, направляющийся к горам.

Внезапный звук пронёсся среди деревьев с неожиданностью тревожной погони; это запел кларнет. Музыкант, выйдя на палубу, сыграл отрывок мелодии, полной печального, протяжного повторения. Звук дрожал, как голос, скрывающий горе; усилился, улыбнулся грустным переливом и оборвался. Далёкое эхо смутно напевало ту же мелодию.

Охотник, отметив след сломанной веткой, пробрался к воде. Туман ещё не рассеялся; в нём гасли очертания огромного корабля, медленно повертывающегося к устью реки. Его свёрнутые паруса ожили, свисая фестонами, расправляясь и покрывая мачты бессильными щитами

огромных складок; слышались голоса и шаги. Береговой ветер, пробуя дуть, лениво теребил паруса; наконец, тепло солнца произвело нужный эффект; воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился по реям в лёгкие алые формы, полные роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей, всё было белым, кроме раскинутых, плавно двинутых парусов цвета глубокой радости.

Охотник, смотревший с берега, долго протирал глаза, пока не убедился, что видит именно так, а не иначе. Корабль скрылся за поворотом, а он всё ещё стоял и смотрел; затем, молча пожав плечами, отправился к своему медведю.

Пока «Секрет» шёл руслом реки, Грэй стоял у штурвала, не доверяя руля матросу — он боялся мели. Пантен сидел рядом, в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грэя.

— Теперь, — сказал Грэй, — когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моём больше счастья, чем у слона при виде небольшой булочки, я попытаюсь настроить вас своими мыслями, как обещал в Лиссе. Заметьте — я не считаю вас

глупым или упрямым, нет; вы образцовый моряк, а это много стоит. Но вы, как и большинство, слушаете голоса всех нехитрых истин сквозь толстое стекло жизни; они кричат, но вы не услышите. Я делаю то, что существует как старинное представление о прекрасном-несбыточном и что, по существу, так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, какой развиваю я на ваших глазах.

Он сжато передал моряку то, о чём мы хорошо знаем, закончив объяснение так:

— Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойство характеров; я прихожу к той, которая ждёт и может ждать только меня, я же не хочу никого другого, кроме неё, может быть именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное — получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения — чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключённого, когда миллиар-

дер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везёт, — тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение и — вовремя сказанное, нужное слово. Владеть этим — значит владеть всем. Что до меня, то наше начало — моё и Ассоль — останется нам навсегда в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня?

— Да, капитан. — Пантен крякнул, вытерев усы аккуратно сложенным чистым платочком. — Я всё понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро. И дам ему табаку — свой он проиграл в карты.

Прежде чем Грэй, несколько удивлённый таким быстрым практическим результатом своих слов, успел что-либо сказать, Пантен уже загремел вниз по трапу и где-то отдалённо вздохнул. Грэй оглянулся, посмотрев вверх; над ним молча рвались алые паруса; солнце в их швах сияло пурпурным дымом. «Секрет» шёл в море, удаляясь от берега. Не было никаких сомнений в звонкой душе Грэя — ни глухих ударов тревоги, ни шума

мелких забот; спокойно, как парус, рвался он к восхитительной цели, полный тех мыслей, которые опережают слова.

К полудню на горизонте показался дымок военного крейсера, крейсер изменил курс и с расстояния полумили поднял сигнал — «лечь в дрейф!».

— Братцы, — сказал Грэй матросам, — нас не обстреляют, не бойтесь; они просто не верят своим глазам.

Он приказал дрейфовать. Пантен, крича как на пожаре, вывел «Секрет» из ветра; судно остановилось, между тем как от крейсера помчался паровой катер с командой и лейтенантом в белых перчатках; лейтенант, ступив на палубу корабля, изумлённо оглянулся и прошёл с Грэем в каюту, откуда через час отправился, странно махнув рукой и улыбаясь, словно получил чин, обратно к синему крейсеру. По-видимому, этот раз Грэй имел больше успеха, чем с простодушным Пантеном, так как крейсер, помедлив, ударил по горизонту могучим залпом салюта, стремительный дым которого, пробив воздух огромными сверкающими мячами, развеялся клочьями над тихой водой. Весь день на крейсере царило некое полупраздничное остолбенение; настроение было неслужебное, сбитое — под зна-

ком любви, о которой говорили везде — от салона до машинного трюма, а часовой минного отделения спросил проходящего матроса: «Том, как ты женился?» — «Я поймал её за юбку, когда она хотела выскочить от меня в окно», — сказал Том и гордо закрутил ус.

Некоторое время «Секрет» шёл пустым морем, без берегов; к полудню открылся далёкий берег. Взяв подзорную трубу, Грэй уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала; по странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах с видом независимым и домашним. Уже два раза был он без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы; здесь он застрял на слове «смотри», с сомнением остановился, ожидая нового шквала, и, действительно, едва избег неприятности, так как Ассоль уже воскликнула: «Опять жучишка… дурак!..» — и хотела решительно сдуть гостя в траву, но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного

пространства белый корабль с алыми парусами.

Она вздрогнула, откинулась, замерла; потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. «Секрет» в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта; негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнём алого шёлка; музыка ритмических переливов, переданных не совсем удачно известными всем словами:

«Налейте, налейте бокалы — и выпьем, друзья, за любовь...» — в её простоте, ликуя, развёртывалось и рокотало волнение.

Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события; на первом углу она остановилась почти без сил; её ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от неё алые паруса; тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегчённо вздохнуть.

Тем временем в Каперне произошло такое за-

мешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда ещё большой корабль не подходил к этому берегу; у корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство; теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети впопыхах мчались к берегу, кто в чём был; жители перекликались со двора в двор, наскакивали друг на друга, вопили и падали; скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Ассоль.

Пока её не было, её имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой, с злобным испугом. Больше говорили мужчины; сдавленно, змеиным шипением всхлипывали остолбеневшие женщины, но, если уж которая начинала трещать — яд забирался в голову. Как только появилась Ассоль, все смолкли, все со страхом отошли от неё, и она осталась одна средь пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем её чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю.

От него отделилась лодка, полная загорелых

гребцов; среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на неё с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль; смертельно боясь всего — ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи, — она вбежала по пояс в тёплое колыхание волн, крича:

— Я здесь, я здесь! Это я!

Тогда Циммер взмахнул смычком — и та же мелодия грянула по нервам толпы, но на этот раз полным, торжествующим хором. От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и дали девушка почти не могла уже различать, что движется: она, корабль или лодка — всё двигалось, кружилось и опадало.

Но весло резко плеснуло вблизи неё; она подняла голову. Грэй нагнулся, её руки ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась; затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала:

— Совершенно такой.

— И ты тоже, дитя моё! — вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грэй. — Вот, я пришёл. Узнала ли ты меня?

Она кивнула, держась за его пояс, с новой ду-

шой и трепетно зажмуренными глазами. Счастье сидело в ней пушистым котёнком. Когда Ассоль решилась открыть глаза, покачиванье шлюпки, блеск волн, приближающийся, мощно ворочаясь, борт «Секрета», — всё было сном, где свет и вода качались, кружась, подобно игре солнечных зайчиков на струящейся лучами стене. Не помня — как, она поднялась по трапу в сильных руках Грэя. Палуба, крытая и увешанная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный сад. И скоро Ассоль увидела, что стоит в каюте — в комнате, которой лучше уже не может быть.

Тогда сверху, сотрясая и зарывая сердце в свой торжествующий крик, вновь кинулась огромная музыка. Опять Ассоль закрыла глаза, боясь, что всё это исчезнет, если она будет смотреть. Грэй взял её руки и, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спрятала мокрое от слёз лицо на груди друга, пришедшего так волшебно. Бережно, но со смехом, сам потрясённый и удивлённый тем, что наступила невыразимая, не доступная никому драгоценная минута, Грэй поднял за подбородок вверх это давно-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки наконец ясно раскрылись. В них было всё лучшее человека.

— Ты возьмёшь к нам моего Лонгрена? — ска-

зала она.

— Да. — И так крепко поцеловал он её вслед за своим железным «да», что она засмеялась.

Теперь мы отойдём от них, зная, что им нужно быть вместе одним. Много на свете слов на разных языках и разных наречиях, но всеми ими, даже и отдалённо, не передашь того, что сказали они в день этот друг другу.

Меж тем на палубе у грот-мачты, возле бочонка, изъеденного червём, с сбитым дном, открывшим столетнюю тёмную благодать, ждал уже весь экипаж. Атвуд стоял; Пантен чинно сидел, сияя, как новорождённый. Грэй поднялся вверх, дал знак оркестру и, сняв фуражку, первый зачерпнул гранёным стаканом, в песне золотых труб, святое вино.

— Ну, вот… — сказал он, кончив пить, затем бросил стакан. — Теперь пейте, пейте все; кто не пьёт, тот враг мне.

Повторить эти слова ему не пришлось. В то время, как полным ходом, под всеми парусами уходил от ужаснувшейся навсегда Каперны «Секрет», давка вокруг бочонка превзошла всё, что в этом роде происходит на великих праздниках.

— Как понравилось оно тебе? — спросил Грэй Летику.

— Капитан! — сказал, подыскивая слова, матрос. — Не знаю, понравился ли ему я, но впечатления мои нужно обдумать. Улей и сад!

— Что?!

— Я хочу сказать, что в мой рот впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан. И пусть счастлива будет та, которую «лучшим грузом» я назову, лучшим призом «Секрета»!

Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны. Часть экипажа как уснула, так и осталась лежать на палубе, поборотая вином Грэя; держались на ногах лишь рулевой да вахтенный, да сидевший на корме с грифом виолончели у подбородка задумчивый и хмельной Циммер. Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным, неземным голосом, и думал о счастье…

Фанданго[20]

[20] Notes: 20

Фанданго — энергичный испанский танец, который традиционно сопровождается пением и гитарной музыкой. Фанданго также может означать музыкальный стиль, связанный с этим танцем.

I

Зимой, когда от холода тускнеет лицо и, засунув руки в рукава, дико бегает по комнате человек, взглядывая на холодную печь, — хорошо думать о лете, потому что летом тепло.

Мне представилось зажигательное стекло и солнце над головой. Допустим, это — июль. Острая ослепительная точка, пойманная блистающей чечевицей, дымится на конце подставленной папиросы. Жара. Надо расстегнуть воротник, вытереть мокрую шею, лоб, выпить стакан воды. Однако далеко до весны, и тропический узор замороженного окна бессмысленно расстилает прозрачный пальмовый лист.

Закоченев, дрожа, я не мог решиться выйти, хотя это было совершенно необходимо. Я не люблю снег, мороз, лёд — эскимосские радости чужды моему сердцу. Главнее же всего этого — мои одежда и обувь были совсем плохи. Старое летнее пальто, старая шляпа, сапоги с проношенными подошвами — лишь этим мог я противостоять декабрю и двадцати семи градусам.

С. Т. поручил мне купить у художника Брока картину Горшкова. Со стороны С. Т. это было

добродушным подарком, так как картину он мог купить сам. Жалея меня, С. Т. хотел вручить мне комиссионные. Об этом я размышлял теперь, насвистывая «Фанданго».

В те времена я не гнушался никаким заработком. Эту небольшую картину открыл я, зайдя неделю назад к Броку за некоторым имуществом, так как недавно занимал ту же комнату, которую теперь занимал он. Я не любил Горшкова, как не любят пожатия холодной, потной и вялой руки, но, зная, что для С. Т. важно «кто», а не «что», сказал о находке. Я прибавил также, что не уверен в законности приобретения картины Броком.

С. Т. — грузный, в халате, задумчиво скребя бороду, зевнул, сказав: «Так, так...» — и стал барабанить по столу красными пальцами. В это время я пил у него настоящий китайский чай, ел ветчину, хлеб с маслом, яйца, был голоден, неловок, говорил с набитым ртом.

С. Т. помешал в стакане резной золочёной ложечкой, поднял её, схлебнул и сказал:

— Вы, это, её сторгуйте. Пятнадцать процентов дам, а что меньше двухсот — ваше.

Я называю деньги их настоящим именем, так как мне теперь было бы трудно высчитать, какая цепь нолей ставилась тогда после двухсот.

В то время тридцать золотых рублей по ощущению жизни равнялись нынешней тысяче. Держа в кармане тридцать рублей, каждый понимал, что «человек — это звучит гордо». Они весили пятнадцать пудов хлеба — полгода жизни. Но я мог ещё выторговать ниже двухсот, заработав таким образом больше чем тридцать рублей.

Я получил толчок к действию, заглянув в шкапчик, где стояли пустые кастрюли, сковорода и горшок. (Я жил Робинзоном.) Они пахли голодом. Было немного рыжей соли, чай из брусники с надписью «отборный любительский», сухие корки, картофельная шелуха.

Я боюсь голода, — ненавижу его и боюсь. Он — искажение человека. Это трагическое, но и пошлейшее чувство не щадит самых нежных корней души. Настоящую мысль голод подменяет фальшивой мыслью, — её образ тот же, только с другим качеством. «Я остаюсь честным, — говорит человек, голодающий жестоко и долго, — потому что я люблю честность; но я только один раз убью (украду, солгу), потому что это необходимо ради возможности в дальнейшем оставаться честным». Мнение людей, самоуважение, страдания близких существуют, но как потерянная монета: она есть и её нет. Хитрость, лукавство,

цепкость — всё служит пищеварению. Дети съедят вполовину кашу, выданную в столовой, пока донесут домой; администрация столовой скрадёт, больницы — скрадёт, склада — скрадёт. Глава семейства режет в кладовой хлеб и тайно пожирает его, стараясь не зашуметь. С ненавистью встречают знакомого, пришедшего на жалкий пир нищей, героически добытой трапезы.

Но это не худшее, так как оно из леса; хуже, когда старательно загримированная кукла, очень похожая на меня (тебя, его…) нагло вытесняет душу из ослабевшего тела и радостно бежит за куском, твёрдо и вдруг уверившись, что она-то и есть тот человек, какого она зацапала. Тот потерял уже всё, всё исказил: вкусы, желания, мысли и свои истины. У каждого человека есть свои истины. И он упорно говорит: «Я, Я, Я», — подразумевая куклу, которая твердит то же и с тем же смыслом. Я не раз испытывал, глядя на сыры, окорока или хлебы, почти духовное перевоплощение этих «калорий»: они казались исписанными парадоксами, метафорами, тончайшими аргументами самых праздничных, светлых тонов; их логический вес равнялся количеству фунтов. И даже был этический аромат, то есть собственное голодное вожделение.

— Очевидно, — говорил я, — так естественен, разумен, так прост путь от прилавка к желудку…

Да, это бывало, со всей ложной искренностью таких умопомрачений, а потому я, как сказал, голода не люблю. Как раз теперь встречаю я странно построенных людей с очень живым напоминанием об осьмушке овса. Это воспоминание переломилось у них на романтический лад, и я не понимаю сей музыкальной вибрации. Её можно рассматривать как оригинальный цинизм. Пример: стоя перед зеркалом, один человек влепляет себе умеренную пощёчину. Это — неуважение к себе. Если такой опыт произведён публично, — он означает неуважение и к себе и к другим.

II

Я превозмог мороз тем, что закурил и, держа горящую спичку в ладонях, согрел пальцы, насвистывая мотив испанского танца. Уже несколько дней владел мной этот мотив. Он начинал звучать, когда я задумывался.

Я редко бывал мрачен, тем более в ресторане. Конечно, я говорю о прошлом, как бы о настоящем. Случалось мне приходить в ресторан весёлым, просто весёлым, без идеи о том, что «вот, хорошо быть весёлым, потому что...» и т. д. Нет, я был весел по праву человека находиться в любом настроении. Я сидел, слушая «Осенние скрипки», «Пожалей ты меня, дорогая», «Чего тебе надо? Ничего не надо» и тому подобную бездарно-истеричную чепуху, которой русский обычно попирает своё веселье. Когда мне это надоедало, я кивал дирижёру, и, проводя в пальцах шёлковый ус, румын слушал меня, принимая другой рукой, как доктор, сложенную бумажку. Немного отвернув лицо взад, вполголоса он говорил оркестру:

— Фанданго!

При этом энергичном, коротком слове на мою

голову ложилась нежная рука в латной перчатке, — рука танца, стремительного, как ветер, звучного, как град, и мелодического, как глубокое контральто. Лёгкий холод проходил от ног к горлу. Ещё пьяные немцы, стуча кулаками, громогласно требовали прослезившее их: «Пошалей ты мена, торокая», но стук палочки о пюпитр[21] внушал, что с этим покончено.

«Фанданго» — ритмическое внушение страсти, страстного и странного торжества. Вероятнее всего, что он — транскрипция соловьиной трели, возведённой в высшую степень музыкальной отчётливости.

Я оделся, вышел; было одиннадцать утра, холодно и безнадёжно светло.

По мостовой спешила в комиссариаты длинная вереница служащих. «Фанданго» звучало глуше, оно ушло в пульс, в дыхание, но был явствен стремительный перелёт такта — даже в едва слышном напеве сквозь зубы, ставшем привычкой.

Прохожие были одеты в пальто, переделанные из солдатских шинелей, полушубки, лосиные куртки, серые шинели, френчи и чёрные кожа-

---

[21] Notes: 21
Пюпитр — наклонный столик-подставка для нот.

ные бушлаты. Если встречалось пальто штатское, то непременно старое, узкое пальто. Миловидная барышня в платке лапала по снегу огромными валенками, клубя ртом синий и белый пар. Неуклюжей от рукавицы рукой прижимала она портфель. Выветренная, как известняк, — до дыр на игривых щеках, — бойко семенила старуха, подстриженная «в кружок», в жёлтых ботинках с высокими каблуками, куря толстый «Зефир». Мрачные молодые мужчины шагали с нездешним видом. Не раз, интересуясь всем, спрашивал я, почему прохожие избегают идти по тротуару, и разные получал ответы. Один говорил: «Потому что меньше снашивается обувь». Другой отвечал: «На тротуаре надо сторониться, соображать, когда уступить дорогу, когда и толкнуть». Третий объяснял просто и мудро: «Потому что лошадей нет» (то есть экипажи не мешают идти). «Идут так все, — заявлял четвёртый, — иду и я».

Среди этой картины заметил я некоторый ералаш, производимый видом резко отличной от всех группы. То были цыгане. Цыган много появилось в городе в этом году, и встретить можно было их каждый день. Шагах в десяти от меня остановилась их бродячая труппа, толкуя между собой. Густобровый, сутулый старик был в высо-

кой войлочной шляпе, остальные двое мужчин в синих новых картузах. На старике было старое ватное пальто табачного цвета, а в сморщенном ухе блестела тонкая золотая серьга. Старик, несмотря на мороз, держал пальто распахнутым, выказывая пёструю бархатную жилетку с глухим воротником, обшитым малиновой тесьмой, плисовые шаровары и хорошо начищенные, высокие сапоги. Другой цыган, лет тридцати, в стёганом клетчатом кафтане, украшенном на крестце огромными перламутровыми пуговицами, носил бороду чашкой и замечательные, пышные усы цвета смолы; увеличенные подусниками, они напоминали кузнечные клещи, схватившие поперёк лица. Младший, статный цыган, с худым воровским лицом напоминал горца — черкеса, гуцула. У него были пламенные глаза с синевой вокруг горбатого переносья, и нёс он под мышкой гитару, завёрнутую в серый платок; на цыгане был новый полушубок с мерлушковой оторочкой.

Старик нёс цимбалы.

Из-за пазухи среднего цыгана торчал медный кларнет.

Кроме мужчин здесь были две женщины: молодая и старая.

Старуха несла тамбурин. Она была укутана в две рваные шали: зелёную и коричневую; из-под углов их выступал край грязной красной кофты. Когда она взмахивала рукой, напоминающей птичью лапу, — сверкали массивные золотые браслеты. Смесь вороватости и высокомерия, наглости и равновесия была в её тёмном безобразном лице. Может быть, в молодости выглядела она не хуже, чем молодая цыганка, стоявшая рядом, от которой веяло теплом и здоровьем. Но убедиться в этом было бы теперь очень трудно.

Красивая молодая цыганка имела мало цыганских черт. Губы её были не толсты, а лишь как бы припухшие. Правильное свежее лицо с пытливым пристальным взглядом, казалось, смотрит из тени листвы, — так затенено было её лицо длиной и блеском ресниц. Поверх тёплой кацавейки, согнутая на сгибах рук, висела шаль с бахромой; поверх шали расцветал шёлковый турецкий платок. Тяжёлые бирюзовые серьги покачивались в маленьких ушах; из-под шали, ниже бахромы, спускались чёрные, жёсткие косы с рублями и золотыми монетами. Длинная юбка цвета настурции почти скрывала новые башмаки.

Не без причины описываю я так подробно этих людей. Завидев цыган, невольно старался я уловить след той неведомой старинной тропы, которой идут они мимо автомобилей и газовых фонарей, подобно коту Киплинга: кот «ходил сам по себе, все места называл одинаковыми и никому ничего не сказал». Что им история? эпохи? сполохи? переполохи? Я видел тех самых бродяг с магическими глазами, каких увидит этот же город в 2021 году, когда наш потомок, одетый в каучук и искусственный шёлк, выйдет из кабины воздушного электромотора на площадку алюминиевой воздушной улицы.

Поговорив немного на своём диком наречии, относительно которого я знал только, что это один из древнейших языков, цыгане ушли в переулок, а я пошёл прямо, раздумывая о встрече с ними и припоминая такие же прежние встречи. Всегда они были вразрез всякому настроению, прямо пересекали его. Встречи эти имели сходство с крепкой цветной ниткой, какую можно неизменно увидеть в кайме одной материи, название которой забыл. Мода изменит рисунок материи, блеск, толщину и ширину; рынок назначит произвольную цену, и носят её то весной, то осенью, на разный покрой, но в кайме всё

одна и та же пёстрая нить. Так и цыгане — сами в себе — те же, как и вчера, — гортанные, черноволосые существа, внушающие неопределённую зависть и образ диких цветов.

Ещё довольно много я передумал об этом, пока мороз не выжал из меня юг, забежавший противу сезона в южный уголок души. Щёки, казалось, сверлит лёд; нос тоже далеко не пылал, а меж оторванной подошвой и застывшим до бесчувственности мизинцем набился снег. Я понёсся, как мог скоро, пришёл к Броку и стал стучать в дверь, на которой было написано мелом:

«Звон. не действ. Прошу громко стуч.».

III

Острые мелкие черты, козлиная бородка чеховского героя, выдающиеся лопатки и длинные руки, при худом сложении и очках, делающих тусклые впалые глаза ненормально блестящими, — эта фигура вышла открыть мне дверь. Брок был в длинном сером пиджаке, чёрных брюках и коричневой жилетке, надетой поверх свитера. Жидкие волосы его, приглаженные, но не везде следующие покатости черепа, торчали местами назад, горизонтально, словно в разных местах он заложил грязные перья. Он говорил медлительно и низко, как дьякон, смотрел исподлобья, поверх очков, склоняя голову набок, потирал вялые руки.

— Я к вам, — сказал я (в квартире были и другие жильцы). — Позвольте, однако, прежде всего согреться.

— Что, мороз?

— Да, сильный мороз…

На эту тему говоря, прошли мы тёмным коридором к светлому ромбу полуоткрытой двери, и Брок, войдя, тщательно закрыл её, потом сунул дров в пылающую железную печь и, небрежи-

тельно вертя папиросу, бросился на пыльную оттоманку, где, облокотясь и скрестив вытянутые ноги, поддёрнул повыше брюки.

Я сел, наставив ладони к печке, и, смотря на розовые, сквозь свет пламени, пальцы, впивал негу тепла.

— Я вас слушаю, — сказал Брок, снимая очки и протирая глаза концом засморканного платка.

Посмотрев влево, я увидел, что картина Горшкова на месте. Это был болотный пейзаж с дымом, снегом, обязательным, безотрадным огоньком между елей и парой ворон, летящих от зрителя.

С лёгкой руки Левитана в картинах такого рода предполагается умышленная «идея». Издавна боялся я этих изображений, цель которых, естественно, не могла быть другой, как вызвать мертвящее ощущение пустоты, покорности, бездействия, — в чём предполагался, однако, порыв.

— «Сумерки», — сказал Брок, видя, куда я смотрю. — Величайшая вещь!

— О том особая речь, но что вы взяли бы за неё?

— Что это? Купить?

— Нуте!

Он вскочил и, став перед картиной, оттянул бородку концами пальцев вперёд.

— Э… — сказал Брок, косясь на меня через плечо. — У вас столько и денег нет. Ещё подумаю, отдать ли за двести, и то потому только, что деньги нужны. Да и денег у вас нет!

— Найду, — сказал я. — Я потому и пришёл, чтобы поторговаться.

Вдали, на парадной, застучали.

— Ну, это ко мне!

Брок кинулся в дверь, выставил в щель из коридора бородку и прикрикнул:

— Одну минуту, я тотчас вернусь поговорить с вами.

Пока его не было, я осматривался по привычке коротать время более с вещами, чем с людьми. Опять уловил я себя в том, что насвистываю «Фанданго», бессознательно огораживаясь мотивом от Горшкова и Брока. Теперь мотив вполне отвечал моему настроению. Я был здесь, но смотрел на всё, что вокруг, издалека.

Это помещение было гостиной, довольно большой, с окнами на улицу. Когда я жил здесь, здесь не было избытка вещей, ввезённых Броком после меня. Мольберты, гипс, ящики и корзины с наваленными на них бельём и одеждой, загромождали проход между стульями, расставленными случайно. На рояле стояла горка тарелок с ножи-

ком и вилкой поверх, среди кожуры от огурца. Оконные пыльные занавеси были разведены углом, весьма неряшливо. Старый ковёр с дырами, следами подошв и щепным мусором дымился у печки, в том месте, где на него выпал калёный уголь. Посредине потолка горела электрическая лампочка; при дневном свете напоминала она клочок жёлтой бумаги.

На стенах было много картин, частью написанных Броком. Но я не рассматривал их. Согревшись, ровно и тихо дыша, я думал о неуловимой музыкальной мысли, твёрдое ощущение которой появлялось всегда, как я прислушивался к этому мотиву — «Фанданго». Хорошо зная, что душа звука непостижима уму, я, тем не менее, пристально приближал эту мысль, и чем более приближал, тем более далёкой становилась она. Толчок новому ощущению дало временное потускнение лампочки, то есть в сером её стекле появилась красная проволока — знакомое всем явление. Помигав, лампочка загорелась опять.

Чтобы понять последовавший затем странный момент, необходимо припомнить обычное для нас чувство зрительного равновесия. Я хочу сказать, что, находясь в любой комнате, мы привычно ощущаем центр тяжести заключающего

нас пространства в зависимости от его формы, количества, величины и расположения вещей, а также направления света. Всё это доступно линейной схеме. Я называю такое ощущение центром зрительной тяжести.

В то время как я сидел, я испытал — может быть, миллионной дробью мгновения, — что одновременно во мне и вне меня мелькнуло пространство, в которое смотрел я перед собой. Отчасти это напоминало движение воздуха. Оно сопровождалось немедленным беспокойным чувством перемещения зрительного центра, — так, задумавшись, я наконец определил изменение настроения. Центр исчез. Я встал, потирая лоб и всматриваясь кругом с желанием понять, что случилось. Я почувствовал ничем не выражаемую определённость видимого, причём центр, чувство зрительного равновесия вышло за пределы, став скрытым.

Слыша, что Брок возвращается, я сел снова, не в силах прогнать чувство этой перемены всего, в то время как всё было то же и тем же.

— Вы заждались? — сказал Брок. — Ничего, грейтесь, курите.

Он вошёл, таща картину порядочной величины, но изнанкой ко мне, так что я не видел,

какова эта картина, и поставил её за шкап, говоря:

— Купил. Третий раз приходит этот человек, и я купил, только чтобы отвязаться.

— А что за картина?

— А, чепуха! Мазня, дурной вкус! — сказал Брок. — Посмотрите лучше мои. Вот написал две в последнее время.

Я подошёл к указанному на стене месту. Да! Вот что было в его душе!.. Одна — пейзаж горохового цвета. Смутные очертания дороги и степи с неприятным пыльным колоритом; и я, покивав, перешёл к второму «изделию». Это был тоже пейзаж, составленный из двух горизонтальных полос, серой и сизой, с зелёными по ней кустиками. Обе картины, лишённые таланта, вызывали тупое, холодное напряжение.

Я отошёл, ничего не сказав. Брок взглянул на меня, покашлял и закурил.

— Вы быстро пишете, — заметил я, чтоб не затянуть молчания. — Ну, что же Горшков?

— Да как сказал — двести.

— Это за Горшкова-то двести? — сорвалось у меня. — Дорого, Брок!

— Вы это сказали тоном, о котором позвольте вас спросить. Горшков… Да вы как на него

смотрите?

— Это — картина, — сказал я. — Я намерен её купить; о том речь.

— Нет, — возразил Брок, уже раздражённый и моими словами, и безразличием к картинам своим. — За неуважение к великому национальному художнику цена будет с вас теперь триста!

Как часто бывает с нервными людьми, я, вспылив, не мог удержаться от острого вопроса:

— Что же вы возьмёте за эту капусту, если я скажу, что Горшков просто плохой художник?

Брок выронил из губ папиросу и длительно, зло посмотрел на меня. Это был тонкий, прокалывающий взгляд вздрогнувшей ненависти.

— Хорошо же вы понимаете… Циник!

— Зачем браниться, — сказал я. — Что плохо, то плохо.

— Ну, всё равно, — заявил он, хмурясь и смотря в пол. — Двести, как было, пусть так и будет: двести.

— Не будет двести — сто будет.

— Вот теперь начинаете вы…

— Хорошо! Сто двадцать пять?!

Ещё сильнее обидевшись, он мрачно подошёл к шкапу и вытащил из-за него картину, которую принёс.

— Эту я отдам даром, — сказал он, потрясая картиной, — на ваш вкус; можете получить за двадцать рублей.

И он поднял в уровень с моим лицом, правильно повернув картину, нечто ошеломительное.

IV

Это была длинная комната, полная света, с стеклянной стеной слева, обвитой плющом и цветами. Справа, над рядом старинных стульев, обитых зелёным плюшем, висело по горизонтальной линии несколько небольших гравюр. Вдали была полуоткрытая дверь. Ближе к переднему плану, слева, на круглом ореховом столе с блестящей поверхностью, стояла высокая стеклянная ваза с осыпающимися цветами; их лепестки были рассыпаны на столе и полу, выложенном полированным камнем. Сквозь стёкла стены, составленной из шестигранных рам, были видны плоские крыши неизвестного восточного города.

Слова «нечто ошеломительное» могут, таким образом, показаться причудой изложения, потому что мотив обычен и трактовка его лишена не только резкой, но и какой бы то ни было оригинальности. Да, да! И тем не менее эта простота картины была полна немедленно действующим внушением стойкой летней жары. Свет был горяч. Тени прозрачны и сонны. Тишина — эта особенная тишина знойного дня, полного молчанием замкнутой, насыщенной жизни, — была

передана неощутимой экспрессией; солнце горело на моей руке, когда, придерживая раму, смотрел я перед собой, силясь найти мазки — ту расхолаживающую математику красок, какую, приблизив к себе картину, видим мы на месте лиц и вещей.

В комнате, изображённой на картине, никого не было. С разной удачей употребляли этот приём сотни художников. Однако самое высокое мастерство не достигало ещё никогда того психологического эффекта, какой в данном случае немедленно заявил о себе. Эффект этот был — неожиданное похищение зрителя в глубину перспективы так, что я чувствовал себя стоящим в этой комнате. Я как бы зашёл и увидел, что в ней нет никого, кроме меня. Таким образом, пустота комнаты заставляла отнестись к ней с точки зрения личного моего присутствия. Кроме того, отчётливость, вещность изображения была выше всего, что доводилось видеть мне в таком роде.

— Вот именно, — сказал Брок, видя, что я молчу. — Обыкновеннейшая мазня. А вы говорите…

Я слышал стук своего сердца, но возражать не хотел.

— Что же, — сказал я, отставляя картину, —

двадцать рублей я достану и, если хотите, зайду вечером. А кто рисовал?

— Не знаю, кто рисовал, — сказал Брок с досадой. — Мало ли таких картин вообще. Ну, так вот: Горшков… Поговоримте об этом деле.

Теперь я уже боялся сердить его, чтобы не ушла из моих рук картина солнечной комнаты. Я был несколько оглушён; я стал рассеян и терпелив.

— Да, я куплю Горшкова, — сказал я. — Я непременно его куплю. Так это ваша окончательная цена? Двести? Хорошо, что с вами поделаешь. Как сказал, вечером буду и принесу деньги, двести двадцать. А когда вас застать?

— Если наверное, то в семь часов буду вас ждать, — сказал Брок, кладя показанную мне картину на рояль, и, улыбаясь, потёр руки. — Вот так люблю: раз, два — и готово, — по-американски.

Если бы С. Т. был теперь дома, я немедленно пошёл бы к нему за деньгами, но в эти часы он сам слонялся по городу, разыскивая старый фарфор. Поэтому, как ни было велико моё нетерпение, от Брока я направился в Дом учёных[22], или КУБУ, как сокращённо называли его, узнать, не состоялось ли зачисление меня на паёк, о чём

[22] Notes: 22

Общественно-культурное учреждение, основанное в 1921 г. в Петрограде при Центральной комиссии по улучшению условий жизни учёных.

подавал прошение.

V

Тепло одетому человеку с холодной душой мороз мог показаться изысканным удовольствием. В самом деле — всё окоченело и посинело. Это ли не восторг? Под белым небом мёрз стиснутый город. Воздух был неприятно, голо прозрачен, как в холодной больнице. На серых домах окна были ослеплены инеем. Мороз придал всему воображаемый смысл: заколоченные магазины с сугробами на ступенях подъездов, с разбитыми зеркальными стёклами; гробовое молчание парадных дверей, развалившиеся киоски, трактиры с выломанными полами, без окон и крыш, отсутствие извозчиков — вот, казалось, как жестоко распорядился мороз. Автомобиль, ехавший так себе, но вдруг затыркавший на месте, потому что испортился механизм, — и тот, казалось, попал в зубы морозу. Ещё более напоминали о нём действия людей, направленные к теплу. По мостовой, тротуарам, на руках, санках и подводах, с скрипучей медленностью привычного отчаяния, ползли дрова. Возы скрипели, как скрипит снег в мороз: пронзительно и ужасно. Заледеневшие брёвна тащились по тротуару руками

изнемогающих женщин и подростков того типа, который знает весь непринятый в общежитии лексикон и просит «прикурить» басом. Между прочим, среди промыслов, каких ещё не видел город, за исключением «пастушества на дому» (сено, рассыпанное в помещении, как трава для коз) и «новое-старое» (блестящая иллюзия новизны, придаваемая найденной на свалке «обуви»), о чём говорит А. Ренье в своей любопытной книге «Задворки Парижа», следовало бы теперь отметить также профессию «продавцов щепок». Эти оборванные люди продавали связки щепок весом не более пяти фунтов, держа их под мышкой, для тех, кто мог позволить себе крайне осторожную роскошь: держать, зажигая одну за другой, щепки под дном чайника или кастрюли, пока не закипит в них вода. Кроме того, с санок продавались малые порции дров, охапки — кому что по средствам. Проезжали тяжело нагруженные дровами подводы, и возница, идя рядом, стегал кнутом воров — детей, таскающих на ходу поленья. Иногда, само упав с воза, полено воспламеняло страсти: к нему мчались сломя голову прохожие, но добычу получал большей частью какой-нибудь усач-проходимец — того типа, что в солдатстве варят из топора суп.

Я шёл быстро, почти бежал, отскрипывая квартал за кварталом и растирая лицо. На одном дворе я увидел толпу благодушно настроенных людей. Они выламливали из каменного флигеля деревянные части. Невольно я приостановился — был в этом зрелище широкий деловой тон, нечто из того, что на лаконическом языке психологии нашей называется: «Валяй, ребята!..» Вылетела двойная дверь, половая балка рухнула концом в снег. В углу двора двое, яростно наскакивая друг на друга, пилили толстый, как бочка, обрез бревна. Я вошёл в двор, переживая чувство человеческой солидарности, и сказал наблюдавшему за работой сонному человеку в синей поддёвке:

— Гражданин, не дадите ли вы мне пару досок?

— Что такое? — сказал тот после долго натянутого молчания. — Я не могу, это слом на артель, а дело от учреждения.

Ничего не поняв, я понял, однако, что досок мне не дадут, и, не настаивая, удалился.

«Как?! Едва встретились и уже расстаёмся», — подумал я, вспоминая поговорку одного интересного человека: «Встречаемся без радости, расстаёмся без печали»...

Меж тем временно изгнанная морозом карти-

на солнечной комнаты снова так разволновала меня, что я устремил все мысли к ней и к С. Т. Добыча была заманчива. Я сделал открытие. Меж тем начало жечь щёки, стрелять в носу и ушах. Я посмотрел на пальцы, их концы побелели, став почти бесчувственными. То же произошло с щеками и носом, и я стал тереть отмороженные места, пока не восстановил чувствительность. Я не продрог, как в сырость, но всё тело ломило и вязало нестерпимо. Коченея, побежал я на Миллионную. Здесь, у ворот КУБУ, я испытал второй раз странное чувство мелькнувшего перед глазами пространства, но, мучаясь, не так был удивлён этим, как у Брока, — лишь потёр лоб.

У самых ворот, среди извозчиков и автомобилей, явилась взгляду моему группа, на которую я обратил бы больше внимания, будь немного теплее. Центральной фигурой группы был высокий человек в чёрном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного чёрного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом, плавный и властный жест…

Здесь внимание моё ослабело. Мне показалось ещё, что за острой, блестящей фигурой этой,

покачиваясь, остановились закрытые носилки с перьями и бахромой. Три смуглых рослых молодца в плащах, закинутых через плечо по нижнюю губу, молча следили, как из ворот выходят профессора, таща за спиной мешки с хлебом. Эти три человека составляли как бы свиту. Но не было места дальнейшему любопытству в такой мороз. Не задерживаясь более, я прошёл в двор, а за моей спиной произошёл разговор, тихий, как перебор струн.

— Это тот самый дом, сеньор профессор! Мы прибыли!

— Отлично, сеньор кабалерро! Я иду в главную канцелярию, а вы, сеньор Эвтерп, и вы, сеньор Арумито, приготовьте подарки.

— Немедленно будет исполнено.

VI

Уличные зеваки, глашатаи «непререкаемого» и «достоверного», а также просто любопытные содрали бы с меня кожу, узнав, что я не потолкался вокруг загадочных иностранцев, не понюхал хотя бы воздуха, которым они дышат в тесном проходе ворот, под красной вывеской Дома учёных. Но я давно уже приучил себя ничему не удивляться.

Вышеуказанный разговор произошёл на чистом кастильском наречии, и так как я довольно хорошо знаю романские языки, мне не составило никакого труда понять, о чём говорят эти люди. Дом учёных время от времени получал вещи и провизию из различных стран. Следовательно, прибыла делегация из Испании. Едва я вошёл в двор, как это соображение подтвердилось.

— Видели испанцев? — сказал брюшковатый профессор тощему своему коллеге, который в хвосте очереди на солёных лещей, выдаваемых в дворовом лабазе, задумчиво жевал папиросу. — Говорят, привезено много всего и на следующей неделе будут раздавать нам.

— А что будут давать?

— Шоколад, консервы, сахар и макароны.

Большой двор КУБУ был занят посередине, почти до главного внутреннего подъезда, длинным строением служб великой княгини, которой ранее принадлежал этот дворец. Слева и справа служб шли узкие, плохо мощённые проходы с лестницами и кладовыми, где время от времени выдавались на паёк рыба, картофель, мясо, мармелад, сахар, капуста, соль и тому подобное кухонное снабжение. В кладовых двора выдавалось главным образом всё то, что затрудняло выдачу других продуктов из центральной кладовой, находившейся в нижнем этаже бывшего дворца. Там каждому члену КУБУ, в раз навсегда определённый для него день недели и в известный час, вручался основной недельный паёк: порции крупы, хлеба, чая, масла и сахара. Эта любопытная, сильная и деятельная организация ещё ждёт своего историка, а потому мы не будем скупо изображать то, чему надлежит некогда развернуться полной картиной.

Смысл этих замечаний моих тот, что на дворе было много народа преимущественно интеллигентного типа. Народ этот если не проходил по двору, то стоял в очередях у дверей нескольких кладовых, где приказчики рассекали топорами

мясные кости или сваливали с весов в ведро кучу мокрых селёдок. В одной лавке раздавали лещей, фунтов 10 на человека, и я приметил ржаво-жестяной хвост этой рыбы, торчавший из разорванного мешка, поставленного на маленькие салазки. Владелец поклажи, старик с обильно заросшим седым лицом и такими же длинными волосами, прихватив локтем верёвку санок, хотел вручить понурой, немолодой женщине какую-то бумажку, но тщетно искал её в пачке документов, вытащенных из бокового кармана пальто.

— Постой, Люси, — говорил он с начинающимся раздражением, — посмотрим ещё. Гм… гм… розовая — банная карточка, белая — кооперативная, жёлтая — по основному пайку, коричневая — по семейному, это — талон на сахар, это — на недополученный хлеб, а тут что? — свидетельства домкомбеда, анкета вуза, старый, просроченный талон на селёдки, квитанция починки часов, талон на прачечную и талон… Матушки! — вскричал он, — я потерял вторую белую карточку, а сегодня последний день сахарного пайка!

Так воскликнув, воскликнув горько, потому что, уже в пятый раз листая свои бумажки,

должен был признаться в потере, он поспешно затолкал весь том обратно в карман и прибавил:

— Если я не забыл её на кухне, где чистил сапоги!.. Я успею! Я вернусь! Я побегу и буду через час, а ты подожди меня!

Они уговорились, где встретиться, и старик, намотав верёвку на варежку, засеменил, таща санки, к воротам. От резкого движения лещ выпал из дыры в снег, и я, подняв его, закричал:

— Рыба! Рыба! Вы потеряли рыбу!

Но уже старик скрылся в воротах, а женщины не было. Тогда, по болезненному чувству находки съестного, без особой практической мысли и без жгучей радости, единственно потому, что лежала у ног пища, я поднял леща и сунул его в карман. Затем я стал пересекать разные очереди, то и дело спотыкаясь о ползущие санки. Сквозь тесную толпу первого коридора я проник в канцелярию с целью навести справку о своём заявлении. Секретарь с мрачным лицом, стол которого обступили дамы, дети, старики, художники, актёры, литераторы и учёные, каждый по своему тоскливому делу (была здесь и особая разновидность — пайковые авантюристы), взрыл наконец груду бумаг, где разыскал пометку против моей фамилии.

— Ещё дело ваше не решено, — сказал он. — Очередное заседание комиссии состоится во вторник, а теперь пятница.

Несколько остыв от надежд, с какими пробирался к столу, я двинулся вверх, в буфет, где мог за последнюю свою тысячу выпить стакан чая с куском хлеба. Движение вокруг меня было так велико, что напоминало бал или банкет с той разницей, что все были в пальто и шапках, а за спиной тащили мешки. Двери хлопали по всему дому, вверху и внизу. Везде уже переходил слух об иностранной делегации, привёзшей подарки; о том говорили на каждом повороте, в буфете и кулуарах.

— Вы слышали о делегации из Аргентины?

— Не из Аргентины, а из Испании.

— Из Испании, да.

— Ах, всё равно, но скажите — что? что? жиры? А есть ли материя?

— Говорят, много всего и раздавать будут на следующей неделе.

— А что именно?

Некто авторитетный, громкий, с снисходящим взглянуть иногда вокруг сводом бровей, утверждал, что делегация прибыла с острова Кубы.

— А не из Саламанки?

— Нет, с Кубы, с Кубы, — говорили, проходя, всеведущие актрисы.

— Как, с Кубы?

Уже родился каламбур, и я слышал его дважды: «КУБУ от Кубы». Две молодые девушки, сбегая по лестнице, как это делают девушки, то есть через ступеньку, остановили своих знакомых, крикнув:

— Шоколад! Да-с!

Оживились даже старухи и те сутуловатые, близорукие люди в очках, с лицами, лишёнными заметной растительности, которые кажутся бесчувственными и которым всегда узко пальто. Во взглядах появился знак душевного равновесия. Голодные лица, с напряжённой заботой о еде в усталых глазах, спешили повторить новость, а кое-кто направился уже в канцелярию с точностью разузнать обо всём.

Так прошло несколько времени, пока я толкался на мраморной лестнице, украшенной статуями, и пил в буфете чай, сидя за стеклянным столом под пальмой, — ранее в помещении этом был зимний сад. Не понимая, отчего хлеб пахнет рыбой, взглянул я на руку, заметил приставшую чешую и вспомнил леща, который торчал в кармане. Утолкав удобнее леща, чтобы

не тёр хвостом локтя, я поднял голову и увидел Афанасия Терпугова, давно знакомого мне повара из ресторана «Мадрид». Это был сухой, пришибленный человек с рыскающим взглядом и некоторой манерностью в выражении лица; тонкие, плотно сжатые его губы были выбриты, а смотрел он поверх очков.

На нём были длинное, как труба, пальто и тесная мерлушковая шапка. Человек этот, шутя, дёргал за хвост моего леща.

— С припасцем! — сказал Терпугов. — А я думал сначала — сечка, боялся порезаться, хе-хе-хе!

— А, здравствуйте, Терпугов, — ответил я. — Вы что здесь делаете?

— Да вот один знакомый хлопотал для меня место в лавке или на кухне. Так я зашёл ему сказать, что отказываюсь.

— Куда же вы поступили?

— Как куда? — сказал Терпугов. — Впрочем, вы этого дела ещё не знаете. Одно вам скажу — приходите завтра в «Мадрид». Я снял ресторан и открываю его. Кухня — моё почтение! Ну, да вы знаете, вы мои расстегаи, подвыпивши, на память с собой брали, помните? И говорили: «К стенке приколочу, в рамку вставлю». Хе-хе! Бывало! Вот ещё польские колдуны с маслом…

Ну, ну, я ведь вас дразнить не хочу. Далее — оркестр, первейший сорт, какой мог только найти. Ценой не обижу, а уж так и быть, для открытия, сыграем вам испанские танцы.

— Однако, Терпугов, — сказал я, поперхнувшись от изумления, — вы соображаете, что говорите?! Что, вам одному, противу всех правил, разрешат такое дело, как «Мадрид»? Это в двадцать-то первом году?

Здесь произошло со мной нечто, подобное всем известному моменту раздвоения зрения, когда всё видишь вдвойне. Что-то мешало смотреть, ясно видеть перед собой. Терпугов отдалился, потом стал виден ещё далее, и, хотя стоял он рядом со мной, против окна, я видел его на фоне окна, как бы вдали, нюхающего табак с задумчивым видом. Он говорил, словно и не обращаясь ко мне, а в сторону:

— Там как вы хотите, а приходите. Ко всему тому отдайте-ка мне леща, а я вымочу, вычищу — да обработаю под кашу и хрен со сметаной, уж будете вы довольны! Я думаю, что у вас и дров нет.

Продолжая дивиться, я протёр глаза и снова овладел зрением.

— Хотя говорите вы чепуху, — сказал я с доса-

дой, — леща, однако, возьмите, потому что мне не изготовить его самому. Берите! — повторил я, вручая рыбу.

Терпугов внимательно осмотрел её, потрепал хвост и даже заглянул в рот.

— Рыба хороша, жирна, — сказал он, пряча леща за пазуху. — Будьте покойны. Терпугов знает своё дело — все косточки удалю. Пока до свидания! Так не забудьте, завтра в «Мадриде» в восемь часов открытие!

Он тронул шапочку, шаркнул ногой, серьёзно посмотрел на меня и исчез за стеклянной дверью.

— Бедняга рехнулся! — сказал я, выходя на лестницу к резным дверям Розового зала. Я отогрелся, голод так не мучил меня, и я, вспомнив Терпугова, улыбнулся, думая: «Лещ попал к Терпугову. Какая странная у леща судьба!»

VII

Массивная двойная дверь зала была полуотворена. Едва я подошёл к ней, как несколько лиц высшей администрации, с портфелями и без оных, ворвались мимо меня в дверь один за другим, заглядывая через головы передних, — так все они торопились увидеть нечто, без сомнения, связанное с испанцами. Я помнил разговор в воротах, а потому заглянул сам и увидел, что большой зал полон народом. Пожав плечами, в знак равенства степенно вошёл и я и, так как было довольно тесно, стал несколько в стороне, наблюдая происходящее.

Обычно занят был этот зал канцелярской работой, но теперь столы были сдвинуты к стенам, а машины куда-то исчезли. Один большой стол, накрытый синим сукном, стоял ближе к дальней, от двери, стене, меж зеркальных окон с видом на занесённую снегом реку. По правому концу стола восседал президиум КУБУ, а по левому — тот рыжий человек в берете и плаще с горностаевым отложным воротником, которого видел я у ворот. Он сидел прямо, слегка откинувшись на твёрдую спинку стула, и обводил взглядом собрание. Его

правая рука лежала прямо перед ним на столе, сверх бумаг, а левой он небрежно шевелил шейную золотую цепь, украшенную жемчугом. Его три спутника стояли сзади него, выказывая лицами и позой терпение и внимание. Перед столом возвышалась баррикада тюков, зашитых в кожу и холст, и я подивился, что администрация разрешила внести сюда столько товаров.

Смотря крайне внимательно, я в то же время слышал, что говорят и шепчут с разных сторон. Публика была обыкновенная, пайковая публика: врачи, инженеры, адвокаты, профессора, журналисты и множество женщин. Как я узнал скоро, набились они все сюда постепенно, но быстро, привлечённые оригиналами — делегатами.

Основное качество «слуха» есть тончайшая эманация[23] факта, всегда истинная по природе своей, какую бы уродливую форму ни придумал ей наш аппарат восприятия и распространения, то есть ум и его лукавый слуга — язык. Поэтому я слушал не безразлично. Дыша мне в затылок, сказал кто-то соседу:

— Этот испанский профессор — странный человек. Говорят, большой оригинал и с ужасней-

---

[23] Notes: 23
Эманация — здесь: видоизменение.

шими причудами: ездит по городу на носилках, как в Средние века!

— Да профессор ли он? А знаете, что я слышал? Говорят, что эта личность не та, за кого себя выдаёт!

— Вот те на!

— А что прикажете думать?!

Стоявшая впереди меня, протискалась назад, к разговаривающим, подслушивая их, старуха и приняла немедленно участие в обсуждении дела.

— Что же это такое и как же понять? — прошамкала она лягушачьим ртом; серые жадные её глаза таинственно просветлели. Она понизила голос:

— А мне, мне, слушайте-ка меня, слышите? Будто, говорят, проверили полномочия, а печать-то не та, нет…

Я понял, что общественный нюх работает. Но не было времени прислушиваться к другим шёпотам потому, что комиссия потребовала удаления посторонних.

Испанец, встав, кратко повёл рукой.

— Мы просим, — сказал он сильным и звучным голосом, — разрешить остаться здесь всем, так как мы рады быть в обществе тех, кому привезли

скромные наши подарки.

Переводчик (это был литератор, выпустивший в печать несколько томов испанской словесности) оказался не совсем сведущим в языке. Он перевёл: «мы должны быть», неверно, на что, протискавшись вперёд, я тотчас же указал.

— Сеньор кабалерро знает испанский язык? — обратился ко мне приезжий с обольстительной змеиной улыбкой и стал вдруг глядеть так пристально, что я смутился. Его чёрно-зелёные глаза с острым стальным зрачком направились на меня взглядом, напоминающим хладнокровно засученную руку, погрузив которую в мешок до самого дна, неумолимо нащупывает там человек искомый предмет.

— Знаете испанский язык? — повторил иностранец. — Хотите быть переводчиком?

— Сеньор, — возразил я, — я знаю испанский язык, как русский, хотя никогда не был в Испании. Я знаю, кроме того, английский, французский и голландский языки; но ведь переводчик уже есть?!

Произошёл общий перекрёстный разговор между мной, испанцем, переводчиком и членами комиссии, причём выяснилось, что переводчик сознаёт несовершенное знание им языка, а по-

тому охотно уступает мне свою роль. Испанец ни разу не взглянул на него. По-видимому, он захотел, чтоб переводил я. Комиссия, устав от переполоха, тоже не возражала. Тогда, обратясь ко мне, испанец назвал себя:

— Профессор Мигуэль-Анна-Мария-Педре-Эстебан-Алонзе-Бам-Гран, — на что ответил я так, как следовало, то есть:

— Александр Каур (моё имя), — после чего заседание вновь приняло официальный характер.

Пока что я переводил обычный обмен приветствий, выражаемых поочерёдно комиссией и испанцем, составленных в духе того времени и не заслуживающих подробной передачи теперь. Затем Бам-Гран прочёл список даров, присланных учёными острова Кубы. Перечень этот вызвал общее удовольствие. Два вагона сахара, пять тысяч килограммов кофе и шоколада, двенадцать тысяч — маиса, пятьдесят бочек оливкового масла, двадцать — апельсинового варенья, десять — хереса и сто ящиков манильских сигар. Всё было уже взвешено и погружено в кладовые. Но те тюки, что лежали перед столом, заключали вещи, о чём Бам-Гран сказал только, что, с разрешения пайковой комиссии, он «будет иметь честь немедленно показать собранию всё,

что есть в тюках».

Как только перевёл я эти слова, в зале прошёл гул одобрения: предстояло зрелище, вернее, дальнейшее развитие зрелища, во что уже обратилось присутствие делегации. Всем, а также и мне стало отменно весело. Мы были свидетелями щедрого и живописного жеста, совершаемого картинно, как на рисунках, изображающих прибытие путешественников в далёкие страны.

Испанцы переглянулись и стали тихо говорить между собой. Один из них, протянув руку к тюкам, вдруг улыбнулся и добродушно посмотрел на толпу.

— Все взрослые — дети, — сказал ему Бам-Гран довольно отчётливо, так что я расслышал эти слова; затем, поняв по моему лицу, что я расслышал, он наклонился ко мне и, заглядывая в глаза лезвием своих блестящих зрачков, шепнул:

На севере диком, над морем,
Стоит одиноко сосна.
И дремлет,
И снегом сыпучим
Засыпана, стонет она.

Ей снится: в равнине,

В стране вечной весны,
Зелёная пальма... Отныне
Нет снов иных у сосны...[24]

[24] Notes: 24
Очень вольный перевод 33-го стихотворения Г. Гейне из цикла «Лирическое интермеццо», сделанный, по-видимому, самим А. Грином.

VIII

Так мягко, так изысканно пошутил он, только пошутил, конечно, но мне как будто крепко пожали руку, и, с сильно забившимся сердцем, не обратив даже внимания, как смело и легко он придал в странном намёке своём особый смысл стихотворению Гейне, — смысл которого безграничен, — я нашёлся лишь сказать:

— Правда? Что хотели вы выразить?

— Мы знаем кое-что, — сказал он обычным своим тоном. — Итак, приступите, кабалерро!

Едва настроение это, этот момент, подобный неожиданному звону струны, замер среди возни, поднявшейся вокруг тюков, как я был снова погружён в своё дело, внимательно слушая отрывистые слова Бам-Грана. Он говорил о поспешности своего отъезда, извиняясь, что привёз меньше, чем могло быть. Тем временем руки испанцев, с уверенностью кошачьих лап, взвились из-под плащей, сверкнув узкими ножами; повернув тюки, они рассекли верёвки, затем быстро вспороли кожу и холст. Наступила тишина. Зрители толпились вокруг, ожидая, что будет. Было только слышно, как за дверью соседней комна-

ты телеграфически трещит пишущая машинка под угрюмой, ко всему равнодушной рукой.

К этому времени зал набился так плотно клиентами и служащими КУБУ, что видеть действие могли только стоящие впереди. Уже испанцы вынули из тюка коробку с тёмными, короткими свечками.

— Вот! — сказал Бам-Гран, беря одну свечку и ловко зажигая её. — Это ароматические курительные свечи для освежения воздуха!

Сухой, бледной рукой поднял он огонёк, и по накуренному скверным табаком залу прошло тонкое благоухание, напоминающее душистое тепло сада. Многие засмеялись, но тень недоумения легла на некоторых учёных физиономиях. Не расслышав моего перевода, эти люди сказали:

— А, свечи, хорошо! Наверное, есть и мыло!

Однако в большинстве лиц скользнуло разочарование.

— Если все подарки таковы… — сказал седой человек с красным носом багровому от переполняющей его мрачности молодому человеку, скрестившему на груди руки, — то что же это такое?

Молодой человек презрительно сощурил глаза и сказал:

— Н-да…

Меж тем работа шла быстро. Ещё три тюка распались под движениями острых ножей. Появились куски замечательного цветного шёлка, узорная кисея, белые панамские шляпы, сукно и фланель, чулки, перчатки, кружева и много других материй, видя цвет и блеск которых я мог только догадаться, что они лучшего качества. Разрезая тюк, испанцы брали кусок или образец, развёртывали его и опускали к ногам. Шелестя, одна за другой лились из смуглых их рук ткани, и скоро образовалась гора, как в магазине, когда приказчики выбрасывают на прилавок всё новые и новые образцы. Наконец материи окончились. Лопнули, упав, верёвки нового тюка, и я увидел морские раковины, рассыпавшиеся с сухим стуком; за ними посыпались красные и белые кораллы.

Я отступил, так были хороши эти цветы дна морского среди складок шёлка и полотна, — они хранили блеск подводного луча, проникающего в зелёную воду. Как стало смеркаться, зал был освещён электричеством, что ещё больше заставило блестеть груды подарков.

— Это — очень редкие раковины, — сказал Бам-Гран, — и нам будет очень приятно, если вы

возьмёте их на память о нашем посещении и об океане, который там, далеко!..

Он обратился к помощникам, жестом торопя их:

— Живей, кабалерро! Не задерживайте впечатления! Сеньор Каур, передайте собранию, что пятьдесят гитар и столько же мандолин доставлено нами; вот мы сейчас покажем вам образцы.

Теперь шесть самых больших и длинных тюков встали перед нами на возвышение; развернув их, испанцы обнажили пальмовое дерево тонких, крепких ящиков и осторожно взломали их. Там, упакованные шерстяной ватой, лежали новые инструменты. Вынимая гитары, одну за другой, бережно, как спящих детей, испанцы вытирали их шёлковыми платками, ставя затем к столу или опуская на кучи цветных материй. Но скоро класть стало некуда, как одну на другую, и пришлось попросить зрителей расступиться. Грифы, а также деки гитар цвета тёмной сигары были украшены перламутровой инкрустацией, местами — золотой тонкой резьбой.

Пока с ними возились, стоял смутный звон; иногда толчок гитары о дерево возвышал это беспорядочное звенение в нежный аккорд.

Скоро появились и мандолины, также укра-

шенные перламутром и золотом. Мандолины, распространяя острый, металлический звон, вызываемый, непроизвольно, движениями людей, трогавших их, заняли весь стол и всё пространство под ним. Работа эта была кончена сравнительно нескоро, так что я имел время всмотреться в лица членов комиссии и уразуметь их чрезвычайно напряжённое состояние.

В самом деле, происходящее начало принимать характер драматической сцены с сильным декоративным моментом. Канцелярия, караваи хлеба, гитары, херес, телефоны, апельсины, пишущие машины, шелка и ароматы, валенки и бархатные плащи, постное масло и кораллы образовали наглядным путём странно дегустированную смесь, попирающую серый тон учреждения звоном струн и звуками иностранного языка, напоминающего о жаркой стране. Делегация вошла в КУБУ, как гребень в волосы, образовав пусть недолгий, но яркий и непривычный эксцентр, в то время как центры административный и продовольственный невольно уступали пришельцу первенство и характер жеста. Теперь хозяевами положения были эти церемонные смуглые оригиналы, и гостеприимство не позволяло даже самого умеренного намёка на желательность

прекращения сцены, ставшей апофеозом непосредственности, раскинувшей пёстрый свой лагерь в канцелярии «общественного снабжения». Вопреки обычаю, деловой день остановился. Служащие собрались отовсюду — из лавок, присутственных мест, агентур, кладовых, топливного отдела, из бани, парикмахерской, прачечной, из буфета и дежурных комнат, из библиотеки и санитарии, и если пришли не все, то без тех, кто не пришёл, не могла двинуться ни одна бумага. Пайщики, пришедшие за пайком, отложили получение продуктов своих, не желая предпочесть то, что видели каждый день, редкому инциденту. Несколько скоро поспевающих, всё и везде пронюхивающих шмыгальцев уже побежали в отделы хлопотать о выдаче им шоколада и хереса, чтобы, получив, таким образом, талоны, избегнуть грядущих очередей.

Хотя я проницал настроение членов комиссии, но должен был также принять в соображение, что теперь только один тюк — самый длинный, тщательнее всех иных заштукованный, остался нетронутым. Шёл четвёртый час дня, так что более получаса депутация в этом зале пробыть не могла. Зал, естественно, должен был затем быть заперт для учёта и уборки разбросанного то-

вара, а испанцы — перейти в комнату заседаний для делового окончания своего посещения КУБУ. По всему этому я уверился, что неприятностей не случится.

Испанцы ухватились за длинный тюк и поставили его вертикально. Ножи оттянули верёвки тупым углом, и они, надрезанные, лопнули, упав вокруг тюка змеёй. Тюк был зашит в несколько слоёв полотна. Развёртывая его, набросали кучу белых полос. Тогда, расцвечиваясь и золотясь, вышел из саженного кокона огромный свиток шёлка, шириной футов пятнадцать и длиной почти во весь зал. Трепля и распушивая его, испанцы разошлись среди расступившейся толпы в противоположные углы помещения, причём один из них, согнувшись, раскатывал свёрток, а два других на вытягивающихся всё выше руках донесли конец к стене и там, вскочив на стулья, прикрепили его гвоздями под потолок. Таким образом, наклонно спускаясь из отдаления, лёг на весь беспорядок товарных груд замечательно искусный узор, вышитый по золотистому шёлку карминными перьями фламинго и перьями белой цапли — драгоценными перьями Южной Америки. Жемчуг, серебряные и золотые блёстки, розовый и тёмно-зелёный стеклярус в соедине-

нии с другим материалом являли дикую и яркую красоту, овеянную нежностью композиции, основной мотив которой, быть может, был заимствован от рисунка кружев.

Шумя, ахая, множа шум шумом и в шуме становясь шумливыми ещё больше, зрители смешались с комиссией, подступив к сверкающему изделию. Возник беспорядок удовольствия — истинный порядок естества нашего. И покрывало заколыхалось в десятках рук, трогавших его с разных сторон. Я выдержал атаку энтузиасток, требующих немедленно запросить Бам-Грана, кто и где смастерил такую редкую роскошь.

Смотря на меня, Бам-Гран медленно и внушительно произнёс:

— Вот работа девушек острова Кубы. Её сделали двенадцать самых прекрасных девушек города. Полгода вышивали они этот узор. Вы правы, смотря на него с заслуженным снисхождением. Прочтите имена рукодельниц!

Он поднял край шёлка, чтобы все могли видеть небольшой венок, вышитый латинскими литерами, и я перевёл вышитое: «Лаура, Мерседес, Нина, Пепита, Конхита, Паула, Винсента, Кармен, Инеса, Долорес, Анна и Клара».

— Вот что они просили передать вам, — громко

продолжал я, беря поданный мне испанским профессором лист бумаги: «Далёкие сёстры! Мы, двенадцать девушек-испанок, обнимаем вас издалека и крепко прижимаем к своему сердцу! Нами вышито покрывало, которое пусть будет повешено вами на своей холодной стене. Вы на него смотрите, вспоминая нашу страну. Пусть будут у вас заботливые женихи, верные мужья и дорогие друзья, среди которых — все мы! Ещё мы желаем вам счастья, счастья и счастья! Вот всё. Простите нас, неучёных, диких испанских девушек, растущих на берегах Кубы!»

Я кончил переводить, и некоторое время стояла полная тишина. Такая тишина бывает, когда внутри нас ищет выхода не переводимая ни на какие языки речь. Молча течёт она…

«Далёкие сёстры…» Была в этих словах грациозная чистота смуглых девичьих пальцев, прокалывающих иглой шёлк ради неизвестных им северянок, чтобы в снежной стране усталые глаза улыбнулись фантастической и пылкой вышивке. Двенадцать пар чёрных глаз склонились издалека над Розовым залом. Юг, смеясь, кивнул Северу. Он дотянулся своей жаркой рукой до отмороженных пальцев. Эта рука, пахнущая розой и ванильным стручком, — лёгкая рука нервного,

как коза, создания, носящего двенадцать имён, внесла в повесть о картофеле и холодных квартирах наивный рисунок, подобный тому, что делает на полях своих книг Сетон-Томпсон: арабеск[25] из лепестков и лучей.

[25] Notes: 25

Арабеск — вид узора, который включает в себя геометрические фигуры, сложные переплетения линий, завитки, растительные элементы и стилизованные цветы.

IX

На острие этого впечатления послышался у дверей шум, — настойчивые слова неизвестного человека, желавшего выбраться к середине зала.

— Позвольте пройти! — говорил человек этот сумрачно и многозначительно.

Я ещё не видел его. Он восклицал громко, повышая свой режущий ухо голос, если его задерживали:

— Я говорю вам, пропустите! Гражданин! Вы разве не слышите? Гражданка, позвольте пройти! Второй раз говорю вам, а вы делаете вид, что к вам не относится. Позвольте пройти! Позво… — но уже зрители расступились поспешно, как привыкли они расступаться перед всяким сердитым увальнем, имеющим высокое о себе мнение.

Тогда в двух шагах от меня просунулся локоть, отталкивающий последнего, заслоняющего дорогу профессора, и на самый край драгоценного покрывала ступил человек неопределённого возраста, с толстыми губами и вздёрнутой щёткой рыжих усов. Был он мал ростом и как бы надут — очень прямо держал он короткий свой стан; одет

был в полушубок, валенки и котелок. Он стал, выпятив грудь, откинув голову, расставив руки и ноги. Очки его отважно блестели; под локтем торчал портфель.

Казалось, в лицо этого человека вошло то невыразимое бабье начало, какому обыкновенно сопутствует истерика. Его нос напоминал трефовый туз, выраженный тремя измерениями, дутые щёки стягивались к ноздрям, взгляд блестел таинственно и высокомерно.

— Так вот, — сказал он тем же тоном, каким горячился, протискиваясь, — вы должны знать, кто я. Я — статистик Ершов! Я всё слышал и видел! Это какое-то обалдение! Чушь, чепуха, возмутительное явление! Этого быть не может! Я не… верю, не верю ничему! Ничего этого нет, и ничего не было! Это фантомы, фантомы! — прокричал он. — Мы одержимы галлюцинацией или угорели от жаркой железной печки! Нет этих испанцев! Нет покрывала! Нет плащей и горностаев! Нет ничего, никаких фиглей-миглей! Вижу, но отрицаю! Слышу, но отвергаю! Опомнитесь! Ущипните себя, граждане! Я сам ущипнусь! Всё равно, можете меня выгнать, проклинать, бить, задавить или повесить, — я говорю: ничего нет! Не реально! Не достоверно! Дым!

Члены комиссии повскакали и выбежали из-за стола. Испанцы переглянулись. Бам-Гран тоже встал. Закинув голову, высоко подняв брови и подбоченясь, он грозно улыбнулся, и улыбка эта была замысловата, как ребус. Статистик Ершов дышал тяжело, словно в беспамятстве, и вызывающе прямо глядел всем в глаза.

— В чём дело? Что с ним? Кто это?! — послышались восклицания.

Бегун, секретарь КУБУ, положил руку на плечо Ершова.

— Вы с ума сошли! — сказал он. — Опомнитесь и объясните, что значит ваш крик?!

— Он значит, что я более не могу! — закричал ему в лицо статистик, покрываясь красными пятнами. — Я в истерике, я вопию и скандалю, потому что дошёл! Вскипел! Покрывало! На кой мне чёрт покрывало, да и существует ли оно в действительности?! Я говорю: это психоз, видение, чёрт побери, а не испанцы! Я, я — испанец, в таком случае!

Я переводил, как мог, быстро и точно, став ближе к Бам-Грану.

— Да, этот человек — не дитя, — насмешливо сказал Бам-Гран. Он заговорил медленно, чтобы я поспевал переводить, с несколько злой улыб-

кой, обнажившей его белые зубы. — Я спрашиваю кабалерро Ершова, что имеет он против меня?

— Что я имею? — вскричал Ершов. — А вот что: я прихожу домой в шесть часов вечера. Я ломаю шкап, чтобы немного согреть свою конуру. Я пеку в буржуйке картошку, мою посуду и стираю бельё! Прислуги у меня нет. Жена умерла. Дети заиндевели от грязи. Они ревут. Масла мало, мяса нет — вой! А вы мне говорите, что я должен получить раковину из океана и глазеть на испанские вышивки! Я в океан ваш плюю! Я из розы папироску сверну! Я вашим шёлком законопачу оконные рамы! Я гитару продам, сапоги куплю! Я вас, заморские птицы, на вертел насажу и, не ощипав, испеку! Я… эх! Вас нет, так как я не позволю! Скройся, видение, и, аминь, рассыпься!

Он разошёлся, загремел, стал топать ногами. Ещё с минуту длилось оцепенение, и затем, вздохнув, Бам-Гран выпрямился, тихо качая головой.

— Безумный! — сказал он. — Безумный! Так будет тебе то, чем взорвано твоё сердце: дрова и картофель, масло и мясо, бельё и жена, но более — ничего! Дело сделано. Оскорбление нанесено, и мы уходим, уходим, кабалерро Ершов, в страну, где вы не будете никогда! Вы же, сеньор Каур, в любой день, как пожелаете, явитесь

ко мне, и я заплачу вам за ваш труд переводчика всем, что вы пожелаете! Спросите цыган, и вам каждый из них скажет, как найти Бам-Грана, которому нет причин больше скрывать себя. Прощай, учёный мир, и да здравствует голубое море!

Так сказав, причём едва ли успел я произнести десять слов перевода, — он нагнулся и взял гитару; его спутники сделали то же самое. Тихо и высокомерно смеясь, они отошли к стене, став рядом, отставив ногу и подняв лица. Их руки коснулись струн… Похолодев, услышал я быстрые, глухие аккорды, резкий удар так хорошо знакомой мелодии: зазвенело «Фанданго». Грянули, как поцелуй в сердце, крепкие струны, и в этот набегающий темп вошло сухое щёлканье кастаньет. Вдруг электричество погасло. Сильный толчок в плечо заставил меня потерять равновесие. Я упал, вскрикнув от резкой боли в виске, и среди гула, криков, беснования тьмы, сверкающей громом гитар, лишился сознания.

X

Я очнулся тяжело, как прикованный. Я лежал на спине. С потолка светила под зелёным абажуром электрическая лампа.

В голове, около правого виска, стояло неприятное онемение. Когда я повернул голову, онемение перешло в тупую боль.

Я стал осматриваться. Узкая, вся белая комната с покрытым белой клеёнкой полом была, по-видимому, амбулаторией. Стоял здесь узкий стеклянный шкап с инструментами и лекарствами, два табурета и белый пустой стол.

Я не был раздет, заключив поэтому, что ничего опасного не произошло. Моя фуражка лежала на табурете. В комнате никого не было. Ощупав голову, я нашёл, что она забинтована, следовательно, я рассёк кожу об угол стола или о другой твёрдый предмет. Я снял повязку. За ухом горел сильный, постреливающий ушиб.

На круглых стенных часах стрелки указывали полчаса пятого. Итак, я провёл в этой комнате минут десять, пятнадцать.

Меня положили, перевязали, затем оставили одного. Вероятно, это была случайность, и я не се-

товал на неё, так как мог немедленно удалиться. Я торопился. Припомнив всё, я испытал томительное острое беспокойство и неудержимый порыв к движению. Но я был ещё слаб, в чём убедился, привстав и застёгивая пальто. Однако медицина и помощь неразделимы. Ключи висели в скважине стеклянного шкапа, и, быстро разыскав спирт, я налил полную большую мензурку, выпив её с облегчением и великим удовольствием, так как в те времена водка была редкостью.

Я скрыл следы самоуправства, затем вышел по узкому коридору, достиг пустого буфета и спустился по лестнице. Проходя мимо двери Розового зала, я потянул её, но дверь была заперта.

Я постоял, прислушался. Служащие уже покинули учреждение. Ни одна душа не попалась мне, пока я шёл к выходной двери; лишь в вестибюле сторож подметал сор. Я поостерёгся спросить его об испанцах, так как не знал в точности, чем закончилось дело, но сторож дал сам повод для разговора.

— Которые выходят в дверь, — сказал он, — это правильно. Не как духи или нечистая сила!

— В дверь или в окно, — ответил я, — какая разница?!

— В окно… — сказал сторож, задумавшись. —

В окно, скажу вам, особь статья, если оно открыто. А испанцы после скандала вышли поперёк стены. Так, говорят, прямо на Неву, и в том месте, слышь, где опустились, будто лёд лопнул. Побежали смотреть.

— Как же это понять? — сказал я, надеясь что-нибудь разузнать дальше.

— Там разберут! — Сторож поплевал на ладони и стал мести. — Чудасия!

Покинув его одолевать непонятное, я вышел во двор. Сторож у ворот, в огромной шубе, не торопясь поднялся со скамейки с ключами в руке и, всматриваясь в меня, пошёл открывать калитку.

— Чего смотришь? — крикнул я, видя, что он назойливо следит за мной.

— Такая моя должность, — заявил он, — смотрю, как приказано не выпускать подозрительных. Слышали ведь?!

— Да, — сказал я, и калитка с треском захлопнулась.

Я остановился, соображая, как и где разыскать цыган. Я хотел видеть Бам-Грана. Это было страстное и безысходное чувство, понятие о котором могут получить игроки, тщетно разыскивающие шляпу, спрятанную женой.

О моя голова! Ей была задана работа в неподходящих условиях улицы, мороза и пустоты, пересекаемой огнями автомобилей. Озадаченный, я должен был бы сесть у камина в глубокое и покойное кресло, способствующее течению мыслей. Я должен был отдаться тихим шагам наития и, прихлёбывая столетнее вино вишнёвого цвета, слушать медленный бой часов, рассматривая золотые угли. Пока я шёл, образовался осадок, в котором нельзя уже было откинуть возникающие вопросы. Кто был человек в бархатном плаще, с золотой цепью? Почему он сказал мне стихотворение, вложив в тон своего шёпота особый смысл? Наконец, «Фанданго», разыгранное учёной депутацией в разгаре скандала, внезапная тьма и исчезновение, и я, кем-то перенесённый на койку амбулатории, — какое объяснение могло утолить жажду рассудка, в то время как сверхрассудочное беспечно поглощало обильную алмазную влагу, не давая себе труда внушить мыслительному аппарату хотя бы слабое представление об удовольствии, которое оно испытывает беззаконно и абсолютно, — удовольствие той самой бессвязности и необъяснимости, какие составляют горшую муку каждого Ершова, и, как в каждом сидит Ершов, хотя бы и цык-

нутый, я был в этом смысле настроен весьма пытливо.

Я остановился, стараясь определить, где нахожусь теперь, после полубеспамятного устремления вперёд и без мысли о направлении. По некоторым домам я сообразил, что иду недалеко от вокзала. Я запустил руку в карман, чтобы закурить, и коснулся неведомого твёрдого предмета, вытащив который разглядел при свете одного из немногих озарённых окон жёлтый кожаный мешочек, очень туго завязанный. Он весил не менее как два фунта, и лишь горячечностью своей я объясняю то обстоятельство, что не заметил ранее этой оттягивающей карман тяжести. Нажав его, я прощупал сквозь кожу рёбра монет. «Теряясь в догадках…» — говорили ранее при таких случаях. Не помню, терялся ли я в догадках тогда. Я думаю, что моё настроение было как нельзя более склонно ожидать необъяснимых вещей, и я поспешил развязать мешочек, думая больше о его содержимом, чем о причинах его появления. Однако было опасно располагаться на улице, как у себя дома. Я присмотрел в стороне развалины и направился к их снежным проломам по холму из сугробов и щебня. Внутри этого хаоса вело в разные стороны мно-

жество грязных следов. Здесь валялись тряпки, замёрзшие нечистоты; просветы чередовались с простенками и рухнувшими балками. Свет луны сплетал ямы и тени в один мрачный узор. Забравшись поглубже, я сел на кирпичи и, развязав жёлтый мешок, вытряхнул на ладонь часть монет, тотчас признав в них золотые пиастры. Сосчитав и пересчитав, я определил всё количество в двести штук, ни больше ни меньше, и, несколько ослабев, задумался.

Монеты лежали у меня между колен, на поле пальто, и я шевелил их, прислушиваясь к отчётливому прозрачному стуку металла, который звенит только в воображении или когда две монеты лежат на концах пальцев и вы соприкасаете их краями. Итак, в моём беспамятстве меня отыскала чья-то доброжелательная рука, вложив в карман этот небольшой капитал. Ещё я не был в состоянии производить мысленные покупки. Я просто смотрел на деньги, пользуясь, может быть, бессознательно наставлением одного замечательного человека, который учил меня искусству смотреть. По его мнению, постичь душу предмета можно лишь, когда взгляд лишён нетерпения и усилия, когда он, спокойно соединясь с вещью, постепенно проникается

сложностью и характером, скрытыми в кажущейся простоте общего.

Я так углубился в своё занятие — смотреть и перебирать золотые монеты, — что очень не скоро начал чувствовать помеху, присутствие посторонней силы, тонкой и точной, как если бы с одной стороны происходило легчайшее давление ветра. Я поднял голову, соображая, что бы это могло быть и не следит ли за моей спиной бродяга или бандит, невольно передавая мне своё алчное напряжение? Слева направо я медленным взглядом обвёл развалины и не открыл ничего подозрительного, но хотя было тихо, а хрупко застоявшаяся тишина была бы резко нарушена малейшим скрипом снега или шорохом щебня, — я не осмеливался обернуться так долго, что наконец возмутился против себя. Я обернулся вдруг. Стук крови отдался в сердце и голове. Я вскочил, рассыпав монеты, но уже был готов защищать их и схватил камень…

Шагах в десяти, среди смешанной и неверной тени, стоял длинный, худой человек, без шапки, с худым улыбающимся лицом. Он нагнул голову и, опустив руки, молча рассматривал меня. Его зубы блестели. Взгляд был направлен поверх моей головы с таким видом, когда придумывают, что

сказать в затруднительном положении. Из-за его затылка шла вверх чёрная прямая черта, конец её был скрыт от меня верхним краем амбразуры, через которую я смотрел. Обратный толчок крови, вновь хлынувшей к сердцу, возобновил дыхание, и я, шагнув ближе, рассмотрел труп. Было трудно решить, что это — самоубийство или убийство. Умерший был одет в чёрную сатиновую рубашку, довольно хорошее пальто, новые штиблеты, неподалёку валялась кожаная фуражка. Ему было лет тридцать. Ноги не достигли земли на фут, а верёвка была обвязана вокруг потолочной балки. То, что он не был раздет, а также некая обстоятельность в прикреплении верёвки к балке и — особенно — мелкие бесхарактерные черты лица, обведённого по провалам щёк русой бородкой, склоняло определить самоубийство.

Прежде всего я подобрал деньги, утрамбовал их в мешочек и спрятал во внутренний карман пиджака; затем задал несколько вопросов пустоте и молчанию, окружавшим меня в глухом углу города. Кто был этот безрадостный и беспечальный свидетель моего счёта с необъяснимым? Укололся ли он о шип, пытаясь сорвать розу? Или это — отчаявшийся дезертир? Кто знает, что иногда приводит человека в развалины с ве-

рёвкой в кармане?! Быть может, передо мной висел неудачный администратор, отступник, разочарованный, торговец, потерявший четыре вагона сахара, или изобретатель перпетуум-мобиле, случайно взглянувший в зеркало на своё лицо, когда проверял механизм?! Или хищник, которого родственники усердно трясли за бороду, приговаривая: «Вот тебе, коршун, награда за жизнь воровскую твою!»[26] — а он не снёс и уничтожил себя?

И это, и всё другое могло быть, но мне было уже нестерпимо сидеть здесь, и я, миновав всего лишь один квартал, увидел как раз то, что разыскивал, — уединённую чайную.

На подвальном этаже старого и мрачного дома желтела вывеска, часть тротуара была освещена снизу заплывшими сыростью окнами. Я спустился по крутым и узким ступеням, войдя в относительное тепло просторного помещения. Посреди комнаты жарко трещала кирпичная печь с железной трубой, уходящей под потолком в полутёмные недра, а свет шёл от потускневших электрических ламп; они горели в сыром воздухе тускло и красновато. У печки дремала, зевая и по-

[26] Notes: 26
Строки из стихотворения Н.А. Некрасова «Секрет» (1855).

чёсывая под мышкой, простоволосая женщина в валенках, а буфетчик, сидя за стойкой, читал затрёпанную книгу. На кухне бросали дрова. Почти никого не было, лишь во втором помещении, где столы были без скатертей, сидело в углу человек пять плохо одетых людей дорожного вида; у ног их и под столом лежали мешки. Эти люди ели и разговаривали, держа лица в пару блюдечек с горячим цикорием.

Буфетчик был молодой парень нового типа, с солдатским худощавым лицом и толковым взглядом. Он посмотрел на меня, лизнул палец, переворачивая страницу, а другой рукой вырвал из зелёной книжки чайный талон и загремел в жестяном ящике с конфетами, сразу выкинув мне талон и конфету.

— Садитесь, подадут, — сказал он, вновь увлекаясь чтением.

Тем временем женщина, вздохнув и собрав за ухо волосы, пошла в кухню за кипятком.

— Что вы читаете? — спросил я буфетчика, так как увидел на странице слова: «принцессу мою светлоокую…»

— Хе-хе! — сказал он. — Так себе, театральная пьеса. «Принцесса Грёза». Сочинение Ростанова. Хотите посмотреть?

— Нет, не хочу. Я читал. Вы довольны?

— Да, — сказал он нерешительно, как будто конфузясь своего впечатления, — так, фантазия… О любви. Садитесь, — прибавил он, — сейчас подадут.

Но я не отходил от стойки, заговорив теперь о другом.

— Ходят ли к вам цыгане? — спросил я.

— Цыгане? — переспросил буфетчик. Ему был, видимо, странен резкий переход к обычному от необычной для него книги. — Ходят. — Он механически обратил взгляд на мою руку, и я угадал следующие его слова:

— Это погадать, что ли? Или зачем?

— Хочу сделать рисунок для журнала.

— Понимаю, иллюстрацию. Так вы, гражданин, — художник? Очень приятно!

Но я всё же мешал ему, и он, улыбнувшись, как мог широко, прибавил:

— Ходят их тут две шайки, одна почему-то ещё не была этот день, должно быть, скоро придёт… Вам подано! — и он указал пальцем стол за печкой, где женщина расставляла посуду.

Один золотой был зажат у меня в руке, и я освободил его скрытую мощь.

— Гражданин, — сказал я таинственно, как тре-

бовали обстоятельства, — я хочу несколько оживиться, поесть и выпить. Возьмите этот кружок, из которого не сделаешь даже пуговицы, так как в нём нет отверстий, и возместите мой ничтожный убыток бутылкой настоящего спирта. К нему что-либо мясное или же рыбное. Приличное количество хлеба, солёных огурцов, ветчины или холодного мяса с уксусом и горчицей.

Буфетчик оставил книгу, встал, потянулся и разобрал меня на составные части острым, как пила, взглядом.

— Хм… — сказал он. — Чего захотели!.. А что, это какая монета?

— Эта монета испанская, золотой пиастр, — объяснил я. — Её привёз мой дед (здесь я солгал ровно наполовину, так как дед мой, по матери, жил и умер в Толедо), но вы знаете, теперь не такое время, чтобы дорожить этими безделушками.

— Вот это правильно, — согласился буфетчик. — Обождите, я схожу в одно место.

Он ушёл и вернулся через две-три минуты с прояснившим лицом.

— Пожалуйте сюда, — объявил буфетчик, заводя меня за перегородку, отделяющую буфет от первого помещения, — вот сидите здесь, сей-

час всё будет.

Пока я рассматривал клетушку, в которую он меня привёл — узкую комнату с жёлто-розовыми обоями, табуретами и столом со скатертью в жирных пятнах, — буфетчик явился, прикрыв ногой дверь, с подносом из лакированного железа, украшенным посередине букетом фантастических цветов. На подносе стоял большой трактирный чайник, синий с золотыми разводами, и такие же чашка с блюдцем. Особо появилась тарелка с хлебом, огурцами, солью и большим куском мяса, обложенным картофелем. Как я догадался, в чайнике был спирт. Я налил и выпил.

— Сдачи не будет, — сказал буфетчик, — и, пожалуйста, чтоб тихо и благородно.

— Тихо, благородно, — подтвердил я, наливая вторую порцию.

В это время, проскрипев, хлопнула наружная дверь, и низкий, гортанный голос странно прозвучал среди подвальной тишины русской чайной. Стукнули каблуки, отряхивая снег; несколько человек заговорили сразу громко, быстро и непонятно.

— Явилось, фараоново племя, — сказал буфетчик, — хотите, посмотрите, какие они, может, и не годятся!

Я вышел. Посреди залы, оглядываясь, куда присесть или с чего начать, стояла та компания цыган из пяти человек, которых я видел утром. Заметив, что я пристально рассматриваю их, молодая цыганка быстро пошла ко мне, смотря беззастенчиво и прямо, как кошка, почуявшая рыбный запах.

— Дай погадаю, — сказала она низким, твёрдым голосом, — счастье тебе будет, что хочешь, скажу, мысли узнаешь, хорошо жить будешь!

Насколько раньше я быстро прекращал этот банальный речитатив, выставив левой рукой так называемую «джеттатуру» — условный знак, изображающий рога улитки двумя пальцами, указательным и мизинцем, — настолько же теперь, поспешно и охотно, ответил:

— Гадать? Ты хочешь гадать? — сказал я. — Но сколько тебе нужно заплатить за это?

В то время как цыгане-мужчины, сверкая чернейшими глазами, уселись вокруг стола в ожидании чая, к нам подошёл буфетчик и старуха цыганка.

— Заплатить, — сказала старуха, — заплатить, гражданин, можешь, сколько твоё сердце захочет. Мало дашь — хорошо, много дашь — спасибо скажу!

— Что же, погадай, — сказал я, — впрочем, я вперёд сам погадаю тебе. Иди сюда!

Я взял молодую цыганку за — о боги! — маленькую, но такую грязную руку, что с неё можно было снять копию, приложив к чистой бумаге, и потащил в свою конуру. Она шла охотно, смеясь и говоря что-то по-цыгански старухе, видимо чувствующей поживу. Войдя, они быстро огляделись, и я усадил их.

— Дай корочку хлеба, — тотчас заговорила моя смуглая пифия и, не дожидаясь ответа, ловко схватила кусок хлеба, оторвав тут же половину огурца; затем принялась есть с характерным и естественным бесстыдством дикой степной натуры. Она жевала, а старуха равномерно твердила:

— Положи на ручку, тебе счастье будет! — и, вытащив колоду чёрных от грязи карт, обслюнила большой палец.

Буфетчик заглянул в дверь, но, увидев карты, махнул рукой и исчез.

— Цыганки! — сказал я. — Гадать вы будете после меня. Первый гадаю я.

Я взял руку молодой цыганки и стал притворно всматриваться в линии смуглой ладони.

— Вот что скажу тебе: ты увидела меня, но не

знаешь, что тебе придётся сделать в самое ближайшее время.

— Ну, скажи, будешь цыган! — захохотала она.

Я продолжал:

— Ты скажешь мне… — и тихо прибавил, — как найти человека, которого зовут Бам-Гран.

Я не ожидал, что это имя подействует с такой силой. Вдруг изменились лица цыганок. Старуха, сдёрнув платок, накрыла лицо, по которому судорогой рванулся страх, и, согнувшись, хотела, казалось, провалиться сквозь землю. Молодая цыганка сильно выдернула из моей руки свою и приложила её к щеке, смотря прямо и дико. Лицо её побелело. Она вскрикнула, вскочив, оттолкнула стул, затем, быстро шепнув старухе, поспешно увела её, оглядываясь, как будто я мог погнаться. Видя, что я улыбаюсь, она опомнилась и, уже на пороге, кивнув мне, тяжело и порывисто дыша, сказала изменившимся голосом:

— Молчи! Всё скажу, ожидай здесь; тебя не знаем, толковать будем!

Не знаю, струсил ли я, когда таким внезапным и резким образом подтвердилась сила странного имени, но мысли мои «захолонуло», как будто в ночи над ухом, чутким к молчанию, прозвучала труба. Нервно пожимаясь, выпил я ещё

чашку специи, основательно закусив мясом, но рассеянно, не чувствуя голода сквозь туман чувств, кипящих беззвучно. Тревожась от неизвестности, я повернул голову к перегородке, слушая загадочный тембр цыганского разговора. Они совещались долго, споря, иногда крича или понижая голос до едва слышного шёпота. Это продолжалось немалое время, и я успел несколько поостыть, как вошли трое, обе цыганки и старик цыган, кинувший мне ещё через порог двусмысленный, резкий взгляд. Уже никто не садился. Говорили все стоя, с волнением, вогнавшим их в пот; его капли блестели на лбу старика и висках цыганок, и, вздохнув, вытерли они его концом бахромчатого платка. Лишь старик, не обращая на них внимания, рассматривал меня в упор, молча, словно хотел изучить сразу, наспех, что скажет моё лицо.

— Зачем такое слово имеешь? — произнёс он. — Что знаешь? Расскажи, брат, не бойся, свои люди. Расскажешь, мы сами скажем; не расскажешь, верить не можем!

Допуская, что это входит почему-либо в план обращения со мной, я, как мог толково и просто, рассказал об истории с испанским профессором, упустив многое, но назвав место и перечислив

аксессуары. При каждом странном упоминании цыгане взглядывали друг на друга, говоря несколько слов и кивая, причём, увлёкшись, на меня тогда не обращали внимания, но, кончив говорить между собой, все разом вцепились в моё лицо тревожными взглядами.

— Всё верно говоришь, — сказала мне старуха, — истинную правду сказал. Слушай меня, что я тебе говорю. Мы, цыгане, его знаем, только идти не можем. Сам ступай, а как — скоро скажу. По картам тебе будет и что надо делать — увидишь. Говорить по-русски плохо умею; не всё сказать можно; дочка моя тебе объяснять будет!

Она вытащила карты и, потасовав их, пристально заглянула мне в глаза; затем положила четыре ряда карт, один на другой, снова смешала и дала мне снять левой рукой. После этого вытащила она семь карт, расположив их неправильно, и повела пальцем, толкуя по-цыгански молодой женщине.

Та, кашлянув, с чрезвычайно серьёзным лицом нагнулась к столу, слушая, что твердит ей старуха.

— Вот, — сказала она, подняв палец и, видимо, затрудняясь в выборе выражений, — одно место, где был сегодня, туда снова иди, оттуда

к нему пойдёшь. Какое место, не знаю, только там твоё сердце тронуто. Сердце разгорелось твоё, — повторила она, — что там увидел, тебе знать. Деньги обещал, снова прийти хотел. Как придёшь, один будь, никого не пускай. Верно говорю? Сам знаешь, что верно. Теперь думай, что от меня слышал, чего видел.

Естественно, я мог только признать в этих указаниях Брока с его картиной солнечной комнаты и, соглашаясь, кивнул.

— Это правда, — сказал я, — сегодня случилось то, что ты рассказываешь. Теперь говори дальше.

— Туда придёшь… — она выслушала старуху и стала размышлять, вытерев нос рукой. — Не просто можно прийти. Кого увидишь, ни с кем не говори, пока дело сделаешь. Что увидишь, ничего не пугайся, что услышишь, молчи, будто и нет тебя. Войдёшь — огонь потуши, и какое тебе средство дадим, разверни и в сторону положи, а двери запри, чтобы никто не вошёл. Что сделается, что будет, сам поймёшь и дорогу найдёшь. Теперь денег дай, на карты положи, дай бедной цыганке, не жалей, брат, тебе счастье будет.

Старуха тоже начала попрошайничать.

— Сколько же тебе дать? — сказал я, не от ко-

лебания, а чтобы испытать эту силу привычки, не изменяющую им ни в каких случаях.

— Мало дашь — хорошо, много дашь — спасибо скажу! — повторили цыганки с напряжением и настойчивостью.

Запустив руку в карман, я взял в горсть восемь или десять пиастров, сколько захватил сразу.

— Ну, держи, — сказал я красавице.

Взглянув подобострастно и жадно, схватила она монеты. Одна упала, и её проворно поймал старик; старуха рванулась с места, суя мне согбенную горсть.

— Положи, положи на ручку, не жалей бедной цыганке! — завопила она, пересыпая русские слова восклицаниями на цыганском языке. Все трое дрожали, то рассматривая монеты, то снова протягивая ко мне руки.

— Больше не дам, — сказал я, однако прибавил к даянию своему ещё пять штук. — Замолчите, или я скажу Бам-Грану!

Казалось, это слово имеет универсальное действие. Азарт смолк; лишь старуха вздохнула тяжко, как будто у неё умер ребёнок. Поспешно спрятав монеты в тайниках своих шалей, молодая цыганка протянула старику руку ладонью вверх, чего-то требуя. Он начал спорить,

но старуха прикрикнула, и, медленно расстегнув жилет, старик вытащил небольшой острый конус из белого металла, по которому, когда он блеснул при свете, мелькнула внутренняя зелёная черта. Тотчас цыган завернул конус в синий платок и подал мне.

— Не раскрывай на воздухе, — сказал цыган, — раскрой, как придёшь, положи на стол, будешь уходить, снова заверни, а с собой не бери. Всё равно у меня будет, место себе найдёт. Ну, будь здоров, брат, чего не так сказали, не сердись.

Он отступил к двери, делая цыганкам знак выйти.

— Скажи мне ещё, кто такой Бам-Гран? — спросил я, но он только махнул рукой.

— У него спроси, — сказала старуха, — больше мы ничего не скажем.

Цыгане вышли, говоря друг с другом тихо, взволнованно и опасливо. Их поразил я. Я видел, что их изумление огромно, ошеломлённость и поспешность угодить смешаны со страхом, что в их жизни произошло событие. Я сам волновался так сильно, что спирт не действовал. Я вышел и столкнулся с буфетчиком, который неоднократно заглядывал уже в дверь, однако не мешал нам, и я был ему за это крайне признателен. Цыганки

обыкновенно уводят выгодного клиента за дверь или в другой укромный уголок, где заставляют его смотреть в воду, а также повторять какое-нибудь нехитрое заклинание, поэтому буфетчик мог думать, что, отложив рисование, поддался я соблазну узнать будущее.

— Убежали, фараоново племя! — сказал он, смотря на меня с мрачным интересом. — Чай им подали, они не стали пить, погорланили и ушли. Испугались они вас или как?

Я поддержал эту догадку, сообщив, что цыгане очень суеверны и их трудно уговорить позволить нарисовать себя незнакомому человеку. На том мы расстались, и я вышел на улицу, выдвинутую из тьмы строем теней.

Луны не было видно, но светлый туман одевал небо, сообщая перспективе сонную белизну, переходящую в мрак.

Я отошёл подальше, остановился и вытащил из внутреннего кармана пальто синий платок. В нём прощупывался конус. Я должен был узнать, почему цыгане запрещают обнажать эту вещь прежде, чем приду на место, то есть к Броку, так как указание не поддавалось никакому другому толкованию. Говоря «должен», я подразумеваю долю скептицизма, которая ещё осталась во мне

вопреки странностям этого дня. К тому же разительная неожиданность, являющаяся, опрокинув сомнение, всегда слаще голой уверенности. Это я знал твёрдо. Но я не знал, что произойдёт, иначе потерпел бы ещё не один час.

Остановясь на углу, я развернул платок и увидел, что сверкание зелёной черты в конусе имеет странную форму приближающегося издалека света — точно так, как если бы конус был отверстием, в которое я наблюдаю приближение фонаря. Черта скрывалась, оставляя светлое пятно, или выступала на самой поверхности, разгораясь так ярко, что я видел собственные пальцы, как при свете зелёного угля. Конус был довольно тяжёл, высотой дюйма четыре и с основанием в разрез яблока, совершенно гладкий и правильный. Его цвет старого серебра с оливковой тенью был замечателен тем, что при усилении зеленоватого света казался тёмно-лиловым.

Увлечённый и очарованный, я смотрел на конус, замечая, что вокруг зеленоватого сияния образуется смутный рисунок, движение частей и теней, подобных чёрному бумажному пеплу, колеблемому в печи при свете углей. Внутри конуса наметилась глубина, мрак, в котором отчётливо двигался ручной фонарь с зелёным

огнём. Казалось, он выходит из третьего измерения, приближаясь к поверхности. Его движения были прихотливы и магнетичны; он как бы разыскивал скрытый выход, светя сам себе вверху и внизу. Наконец фонарь стал решительно увеличиваться, устремляясь вперёд, и, как это бывает на кинематографическом экране, его контур, выросши, пропал за пределами конуса; резко, прямо мне в глаза сверкнул дивный зелёный луч. Фонарь исчез. Весь конус озарился сильнейшим блеском, и не прошло секунды, как ужасное, зелёное зарево, хлынув из моих пальцев, разлилось над крышами города, превратив ночь в ослепительный блеск стен, снега и воздуха — возник зеленоватый день, в свете которого не было ни одной тени.

Этот безмолвный удар длился одно мгновение, равное судорожному сжатию пальцев, которыми я скрыл поверхность изумительного предмета. И, однако, это мгновение было чревато событиями.

Ещё дрожал в моих поражённых глазах всеразрывающий блеск, полный слепых пятен, но, как гигантская стена, рухнул наконец мрак, такой мрак, благодаря мгновенному переходу от пределов сияния к густой тьме, что я, потеряв

равновесие, едва не упал. Я шатался, но устоял. Весь трясясь, я завернул конус в платок с чувством человека, только что швырнувшего бомбу и успевшего повернуть за угол. Едва я совершил это немеющими руками, как в разных местах города поднялся шум тревоги. Надо думать, что все, кто был в этот час на улицах, вскрикнули, так как со всех сторон донеслось далёкое «а-а-а», затем послышался отскакивающий звук выстрелов. Лай собак, ранее редкий, возвысился до остервенения, как будто все собаки, соединясь, гнали одинокого и редкого зверя, соскучившегося в тесных трущобах. Мимо меня пробежали испуганные прохожие, оглашая улицу неистовыми и жалкими воплями. Нервно вспотев, я кое-как шёл вперёд. Во тьме сверкнул красный огонь; грохот и звон выскочили из-за угла, и дорогу пересёк пожарный обоз, мчась, видимо, наудачу, куда придётся. От факелов летел с дымом и искрами волнующий блеск пожара, отражаясь в блестящих касках адским трепетом. Колокольцы дуг били резкий набат, повозки гремели, лошади мчались, и всё проскакало, исчезнув, как стремительная атака.

Что произошло ещё в этот вечер с перепуганным населением, я не узнал, так как подходил

к дому, где жил Брок. Я поднялся по лестнице с тяжким сердцебиением, лишь крайним напряжением воли заставляя слушаться ноги. Наконец я достиг площадки и отдышался. В полной темноте я нащупал дверь, постучал и вошёл, но ничего не сказал открывшему. Это был один из жильцов, знавший меня ранее, когда я жил в этой квартире.

— Вам Брока? — сказал он. — Его, кажется, нет. Он был недавно и ждал вас.

Я молчал, боясь произнести хотя одно слово, так как уже не знал, что за этим последует. Разумная мысль пришла мне: приложив руку к щеке, я стал ворочать языком и мычать.

— Ах, эта зубная боль! — сказал жилец. — Я сам хожу с дурной пломбой и часто лезу на стенку. Может быть, вы будете его ждать?

Я кивнул, разрешив, таким образом, затруднение, которое, хотя было пустячным, могло пресечь все мои дальнейшие действия. Брок никогда не запирал комнату, потому что при множестве коммерческих дел интересовался оставляемыми на столе записками. Таким образом, ничто не мешало мне, но если бы я застал Брока дома, на этот случай был мной уже придуман хороший выход: дать ему, ни слова не говоря, золотую

монету и показать знаками, что хорошо бы достать вина.

Схватясь за щёку, я вошёл в комнату, благодаря впустившего меня кивком и кислой улыбкой, как надлежит человеку, помрачённому болью, и тщательно прикрыл дверь. Когда в коридоре затихли шаги, я повернул ключ, чтобы мне никто не мешал. Осветив жильё Брока, я убедился, что картина солнечной комнаты стоит на полу, между двумя стульями, у простенка, за которым лежала ночная улица. Эта подробность имеет безусловное значение.

Подступив к картине, я всмотрелся в неё, стараясь понять связь этого предмета с посещением мною Бам-Грана. Как ни был силён толчок мыслям, произведённый ужасным опытом на улице, даже втрое более раскалённый мозг не привёл бы сколько-нибудь сносной догадки. Ещё раз подивился я великой и лёгкой живости прекрасной картины. Она была полна летним воздухом, распространяющим изящную полуденную дремоту вещей, её мелочи, недопустимые строгим мастерством, особенно бросались теперь в глаза. Так, на одном из подоконников лежала снятая женская перчатка, — не на виду, как поместил бы такую вещь искатель лёгких эффектов, но за

деревом открытой оконной рамы; сквозь стекло я видел её, снятую, маленькую, существующую особо, как существовал особо каждый предмет на этом диковинном полотне. Более того, следя взглядом возле окна с перчаткой, я приметил медный шарнир, каким укрепляются рамы на своём месте, и шляпки винтов шарнира, причём было заметно, что поперечное углубление шляпок замазано высохшей белой краской. Отчётливость всего изображения была не меньше, чем те цветные отражения зеркальных шаров, какие ставят в садах. Уже начал я размышлять об этой отчётливости и подозревать, не расстроено ли собственное моё зрение, но, спохватясь, извлёк из платка конус и стал, оцепенев, всматриваться в его поверхность.

Зелёная черта едва блистала теперь, как бы подстерегая момент снова ослепить меня изумрудным блеском, с силой и красотой которого я не сравню даже молнию. Черта разгорелась, и из тьмы конуса выбежал зелёный фонарь. Тогда, положась на судьбу, я утвердил конус посередине стола и сел в ожидании.

Прошло немного времени, как от конуса начал исходить свет, возрастая с силой и быстротой направляемого в лицо рефлектора. Я находился

как бы внутри зелёного фонаря. Всё, за исключением электрической лампы, казалось зелёным. В окнах до отдалённейших крыш протянулись яркие зелёные коридоры. Это было озарением такой силы, что, казалось, развалится и сгорит дом. Странное дело! Вокруг электрической лампы начала сгущаться жёлтая масса, дымящаяся золотым паром; она, казалось, проникает в стекло, крутясь там, как кипящее масло. Уже не было видно проволочной раскалённой петли, вся лампочка была подобна пылающей золотой груше. Вдруг она треснула звуком выстрела; осколки стекла разлетелись вокруг, причём один из них попал в мои волосы, и на пол пролились пламенные жёлтые сгустки, как будто сбросили со сковороды кипящие яичные желтки. Они мгновенно потухли, и один зелёный свет, едва дрогнув при этом, стал теперь вокруг меня как потоп.

Излишне говорить, что мои мысли и чувства лишь отдалённо напоминали обычное человеческое сознание.

Любое, самое причудливое сравнение даст понятие лишь об усилиях моих сравнить, но ничего — по существу. Надо пережить самому такие минуты, чтобы иметь право говорить о никогда

не испытанном. Но, может быть, вы оцените моё напряжённое, всё отмечающее смятение, если я сообщу, что, задев случайно рукой о стул, я не почувствовал прикосновения так, как если бы был бестелесен. Следовательно, нервная система моя была поражена до физического бесчувствия. Поэтому здесь предел памяти о том, что было испытано мной душевно, с чем согласится всякий, участвовавший хотя бы в штыковом бою: о себе не помнят, действуя тем не менее точно так, как следует действовать в опасной борьбе.

То, что произошло затем, я приведу в моей последовательности, не ручаясь за достоверность.

— Откройте! — кричал голос из непонятного мира и как бы по телефону, издалека.

Но это ломились в дверь. Я узнал голос Брока. Последовал стук кулаком. Я не двигался. Рассмотрев дверь, я не узнал этой части стены. Она поднялась выше, имея вид арки с запертыми железными воротами, сквозь верхний ажур которых я видел глубокий свод. Больше я не слышал ни стука, ни голоса. Теперь, куда я ни оглядывался, везде наметились разительные перемены. С потолка спускалась бронзовая массивная люстра. Часть стены, выходящей на улицу, была как бы уничтожена светом, и я видел

в открывшемся пространстве перспективу высоких деревьев, за которыми сиял морской залив. Направо от меня возник мраморный балкон с цветами вокруг решётки; из-под него вышел матадор с обнажённой шпагой и бросился сквозь пол, вниз, за убегающим быком. Вокруг люстры сверкала живопись. Это смешение несоединимых явлений образовало подобие набросков, оставляемых ленью или задумчивостью на бумаге, где профили, пейзажи и арабески смешаны в условном порядке минутного настроения. То, что оставалось от комнаты, было едва видимо и с изменившимся существом. Так, например, часть картин, висевших на правой от входа стене, осыпалась изображениями фигур; из рам вывалились подобия кукол, предметов, образовав глубокую пустоту. Я запустил руку в картину Горшкова, имевшую внутри форму чайного цыбика, и убедился, что ели картины вставлены в деревянную основу с помощью столярного клея. Я без труда отломил их, разрушив по пути избу с огоньком в окне, оказавшимся просто красной бумагой. Снег был обыкновенной ватой, посыпанной нафталином, и на ней торчали две засохшие мухи, которых раньше я принимал за классическую «пару ворон». В самой глубине

ящика валялась жестянка из-под ваксы и горсть ореховой скорлупы.

Я повернулся, не зная, что предстоит сделать, так как, согласно указаниям, моё положение было лишь выжидательным.

Вокруг сверкал движущийся световой хаос. Под роялем стояли дикий камень и лесной пень, обросший травой. Всё колебалось, являлось, меняло форму. По каменистой тропе мимо меня пробежал осёл, нагруженный мехами с вином; его погонщик бежал сзади, загорелый босой детина с повязкой на голове из красной бумажной материи. Против меня открылось внутрь комнаты окно с железной решёткой, и женская рука выплеснула с тарелки помои. В воздухе, под углом, горизонтально, вертикально, против меня и из-за моих плеч проходили, исчезая в пропастях зелёного блеска, неизвестные люди южного типа; всё это было отчётливо, но прозрачно, как окрашенное стекло. Ни звука: движение и молчание. Среди этого зрелища едва заметной чертой лежал угол стола с блистающим конусом. Находя, что потрудился довольно, и опасаясь также за целость рассудка, я бросил на конус свой карманный платок. Но не наступил мрак, как я ожидал, лишь пропал разом зелёный блеск

и окружающее восстало вновь в прежнем виде. Картина солнечной комнаты, приняв несравненно большие размеры, напоминала теперь открытую дверь. Из неё шёл ясный дневной свет, в то время как окна броковского жилища были по-ночному черны.

Я говорю: «Свет шёл из неё», потому что он действительно шёл с этой стороны, от открытых внутри картины высоких окон. Там был день, и этот день сообщал своё ясное озарение моей территории. Казалось, это и есть путь. Я взял монету и бросил её в задний план того, что продолжал называть картиной; и я видел, как монета покатилась через весь пол к полуоткрытой в конце помещения стеклянной двери. Мне оставалось только поднять её. Я перешагнул раму с чувством сопротивления встречных вихрей, бесшумно ошеломивших меня, когда я находился в плоскостях рамы; затем всё стало, как по ту сторону дня. Я стоял на твёрдом полу и машинально взял с круглого лакированного стола несколько лепестков, ощутив их шелковистую влажность. Здесь мной овладело изнеможение. Я сел на плюшевый стул, смотря в ту сторону, откуда пришёл. Там была обыкновенная глухая стена, обтянутая обоями с лиловой полоской,

и на ней, в чёрной узкой раме, висела небольшая картина, имевшая, бессознательно для меня, отношение к моим чувствам, так как, совладав с слабостью, естественной для всякого в моём положении, я поспешно встал и рассмотрел, что было изображено на картине. Я увидел изображение, сделанное превосходно: вид плохой, плохо обставленной комнаты, погружённой в едва прорезанные лучом топящейся печи сумерки; и это была железная печь в той комнате, из которой я перешёл сюда.

Я принадлежу к числу людей, которых загадочное не поражает, не вызывает дикого оживления и расстроенных жестов, перемешанных с криками. Уже было довольно загадочного в этот зимний день с воткнутым в самое его горло льдистым ножом мороза, но ничто не было так красноречиво загадочно, как это явление скрытой без следа комнаты, отражённой изображением. Я кончил тем, что завязал в памяти узелок: спокойно я подошёл к окну и твёрдой рукой отвёл раму, чтобы разглядеть город. Каково было моё спокойствие, если теперь, только вспоминая о нём, я волнуюсь неимоверно, нетрудно представить. Но тогда это было спокойствие — состояние, в каком я мог двигаться и смотреть.

Как можно понять уже из прежних описаний моих, помещение, залитое резким золотым светом, было широкой галереей с большими окнами по одной стороне, обращённой к постройкам. Я дышал весёлым воздухом юга. Было тепло, как в полдень в июне. Молчание прекратилось. Я слышал звуки, городской шум. За уступами крыш, разбросанных ниже этого дома, до судовых мачт и моря, блестящего чеканной синевой волн, стучали колёса, пели петухи, нестройно голосили прохожие.

Ниже галереи, выступая из-под неё, лежала терраса, окружённая садом, вершины которого зеленели наравне с окнами. Я был в подлинно живом, но неизвестном месте и в такое время года или под такой широтой, где в январе палит зной.

Стая голубей перелетела с крыши на крышу. Пальнула пушка, и медленный удар колокола возвестил двенадцать часов.

Тогда я всё понял. Моё понимание не было ни расчётом, ни доказательством, и мозг в нём не участвовал. Оно явилось подобно горячему рукопожатию и потрясло меня не меньше, чем прежнее изумление. Это понимание охватывало такую сложную сущность, что могло быть ясным

только одно мгновение, как чувство гармонии, предшествующее эпилептическому припадку.

В то время я мог бы рассказать о своём состоянии лишь сбитые и косноязычные вещи. Но само по себе, внутри, понимание возникло без недочётов, в резких и ярких линиях, характером невиданного узора.

Затем оно стало уходить вниз, кивая и улыбаясь, как женщина, посылающая со скрывающих её ступеней лестницы прощальный привет.

Я был снова в границе обычных чувств. Они вернулись из огненной сферы опалённые, но собранные твёрдо и точно. Моё состояние мало отличалось теперь от обычного состояния сдержанности при любом разительном эпизоде.

Я прошёл в дверь и пересёк сумерки помещения, которое не успел рассмотреть. Ступени, покрытые ковром, вели вниз. Я спустился в большую комнату с низким потолком, очень светлую, заставленную красивой мебелью, с диванами и цветами. Её стены были обиты пёстрым шёлком. На полпути я был остановлен взглядом Бам-Грана, сидевшего на диване с тростью и шляпой в руке; он дразнил куском печенья фокстерьера, скакавшего с забавным лаем, в восторге и от неудач, и от ожидания.

Бам-Гран был в костюме цвета морской воды. Его взгляд напоминал конец бича, мелькающий в воздухе.

— Я знал, что увижу вас, — сказал он, — и, хотя собрался гулять, предоставляю себя в ваше полное распоряжение. Если хотите, я назову город. Это — Зурбаган, Зурбаган в мае, в цвету апельсиновых деревьев, хороший Зурбаган шутников, подобных мне!

Говоря так, он расстался с печеньем и, встав, пожал мою руку.

— Вы смелы, дон Каур, — воскликнул он, — и это мне нравится, как всё значительное. Что чувствуете вы, одолев тысячи миль?

— Жажду, — сказал я. — Воздушное давление изменилось, а волнение было велико!

— Я понимаю.

Он сжал мордочку фокса своими тонкими пальцами и, заглядывая с улыбкой в его восторженные глаза, приказал:

— Ступай, скажи Ремму, что у нас гость. Пусть даст вина и льду.

Собака, тявкнув, унеслась прочь.

— Нет, нет, — сказал Бам-Гран, заметив моё невольное движение, — это лишь отличная дрессировка. Слово «Ремм» значит — бежать к Ремму,

а Ремм знает сам, что сделать, завидев Пли-Пли. Между тем дорожите временем, сеньор Каур, — вы можете пробыть здесь только тридцать минут. Я не хотел бы, чтобы вы жалели об этом. Во всяком случае, мы успеем выпить по стакану вина. Ремм, как умилительна твоя быстрота!

Вошёл слуга. Он был в белой пижаме, с бритой головой. Поставив на стол поднос с кувшином из цветного стекла, в котором было вино, графин с гранатовым соком и лёд в серебряной вазе, обложенный соломинками, он отступил и посмотрел на Бам-Грана взглядом обожания.

— Лёд весь вышел, сеньор!

— Возьми в Норвежском фиорде или у Сибирской реки!

— Я взял Ремма с Тристан д'Акунья, — сказал Бам-Гран, когда тот ушёл, — я взял его из страшной тайны зеркального стекла, куда он засмотрелся в особую для себя минуту. Выпьем!

Он погрузил соломинку в смесь льда с вином и задумчиво пососал её, но я, измученный жаждой, просто опрокинул бокал в рот.

— Итак, — сказал он, — «Фанданго»! Это прекрасная музыка, и мы сейчас услышим её в исполнении барселонского оркестра Ван-Герда.

Я взглянул с изумлением, так как действитель-

но думал в этот момент о гитарах, грянувших замечательный танец, когда скрывался Бам-Гран. И я мысленно напевал его.

— Барселона не Зурбаган, — сказал я, — а потому не знаю, каким радио вы дадите этот оркестр!

— О простота! — заметил Бам-Гран, вставая с несколько заносчивым видом. — Ван-Герд, сыграйте нам «Фанданго» в переложении Вальтера.

Густой бас вежливо и коротко ответил из пустоты:

— Очень хорошо! Сейчас.

Я услышал кашель, шум, шорох нот, стук инструментов, Бам-Гран, закусив губу, прислушивался. Писк скрипичной струны оборвался при сухом стуке дирижёрского жезла, и я посмотрел кругом, стараясь угадать шутку, но, вспомнив всё, откинулся и стал ждать.

Тогда, как если бы оркестр был действительно здесь, хлынуло наконец полной мерой единственное «Фанданго», о котором я мог сказать, что слышал его при необычайном возбуждении чувств, и тем не менее оно ещё подняло их до высоты, с которой едва заметна земля. Чрезвычайная чистота и пластичность этой музыки в соединении с совершенной оркестровкой заставила онеметь ноги. Я сам звучал, как за-

звеневшее от грома стекло. С трудом понимал я, что говорит рядом Бам-Гран, и бессмысленно посмотрел на него, кружась в стремительных кругообразных наплывах блестящего ритма. «Всё уносит, — сказал тот, кто вёл меня в этот час, подобно твёрдой руке, врезающей алмазом в стекло прихотливую и чудесную линию, — уносит, разбрасывает и разрывает, — говорит он, — гонит ветер и внушает любовь. Бьёт по крепчайшим скрепам. Держит на горячей руке сердце и целует его. Не зовёт, но сзывает вокруг тебя вихри золотых дисков, вращая их среди безумных цветов. Да здравствует ослепительное „Фанданго“!»

Оркестр замедлил и отпустил глухую паузу последнего перехода. Она перевернулась в сотрясающем нервы взрыве последнего ликования. Музыка взяла обаятельный верх, перенеслась там из вышины в вышину и трогательно, гордо сошла вниз, сдерживая экспрессию. Наступила тишина поезда, остановившегося у станции; тишина, резко обрывающая мелодию, напеваемую под стук бегущих колёс.

Я очнулся, как приведённый в негодность часовой механизм, если ему качнуть маятник.

— Вы видите, — сказал Бам-Гран, — что у Ван-Герда действительно лучший оркестр в мире,

и он для нас постарался. Теперь выйдем, так как время уходит, и если вы пробудете здесь ещё десять минут, то, может быть, пожалеете о гостеприимстве Бам-Грана!

Он встал, я тоже поднялся с дымом в голове, всё ещё полный быстрым, как полёт, ритмом фантастического оркестра. Мы прошли в дверь с синим стеклом и очутились на площадке каменной лестницы довольно грязного вида.

— Теперь мне не следует оставаться здесь, — сказал Бам-Гран, отходя в тень, где стал рисунком обвалившейся на стене извёстки, рисунком, имеющим, правда, отдалённое сходство с его острой фигурой. — Прощайте!

Голос прозвучал не то со двора, не то из хлопнувшей внизу двери, и я был снова один…

Лестница шла вниз узким семиэтажным пролётом.

В открытое окно площадки сиял летний голубой воздух. Внизу лежал очень знакомый двор — двор дома, в котором я жил.

Я осмотрел три двери, выходящие на площадку. На одной из них, под № 7, была медная доска с фамилией моей квартирной хозяйки: «Марья Степановна Кузнецова».

Под этой доской висела моя визитная карточка,

которую я прикрепил кнопками. Карточка была на своём месте, но сама она изменилась.

Я прочёл: «Александр Каур» и «и», выведенное чернилами «и». Оно было между верхней и нижней строкой. Нижняя строка, соединённая в смысле своём с верхней строкой этим союзом, была тоже прописана чернилами. Она гласила: «и Елизавета Антоновна Каур». Так! Я был у двери, за которой в отдалённой небольшой комнате меня ждала жена Лиза. Я вспомнил это, получив как бы сильный удар в лоб. Но я не очнулся, ибо последовательность только что окончивших владеть мною событий ярко текла взад. Я упал в этот момент, как спрыгнул бы в темноте на живое, закричавшее существо. Я ожил исчезнувшей без следа жизнью, с ужасом изнемогающего рассудка. Силы оставили меня; между тем два вышедших из пустоты года рванулись в сознание, как вода в лопнувшую плотину. Я грянул по двери кулаками и продолжал стучать, пока быстрые шаги Лизы и звук ключа не подтвердили законность неистовства моего перед лицом собственной жизни.

Я вскочил внутрь и обнял жену.

— Это ты? — сказал я. — Это ты, это ты?

Я сжимал её, повторяя:

— Ты, ты, ты?..

— Что с тобой? — сказала она, освобождаясь, с поражённым, бледным лицом. — Ты не в себе? Почему так скоро вернулся?

— Скоро?!

— Пойдём. — Она сказала это с решительностью внезапного и крайнего возбуждения, вызванного испугом.

В дверях показались лица любопытных жильцов. Обычное возвращало утраченную власть; я прошёл в комнату и сел на кровать.

Я сидел не двигаясь. Лиза взяла с моей головы фуражку и повертела её в руках.

— Слушай, что произошло? — сказала она глухо, в разрастающемся испуге. — На голове присохли волосы. Тебе больно? Обо что ты ударился?

— Лиза, скажи мне, — заговорил я, взяв её за руку, — и не пугайся вопросов: когда я вышел из дома?

Она побледнела, но тотчас подчинилась таинственной внутренней передаче моего состояния. Её голос был неестественно звонок; не отрываясь, она смотрела в мои глаза. Слова были покорны и быстры.

— Ты вышел в почтовое отделение минут двадцать назад, может быть, полчаса.

— Я сказал что-нибудь, уходя?

— Я не помню. Ты слегка хлопнул дверью, и я слышала, как ты, уходя, насвистываешь «Фанданго».

Память сделала поворот, и я вспомнил, что пошёл сдать заказное письмо.

— Какой теперь год?

— Двадцать третий год, — сказала она, заплакав, но не утирая слёз и, вероятно, не замечая, что плачет.

Необычным было напряжение её взгляда.

— Месяц?

— Май.

— Число?

— 23-е мая 1923 года. Я схожу в аптеку.

Она встала и быстро надела шляпу. Затем взяла со стола мелкие деньги. Я не мешал. Особенно взглянув на меня, жена вышла, и я услышал её быстрые шаги к выходной двери.

Пока её не было, я восстановил прошлое, не удивляясь ему, так как это было моё прошлое, и я отлично видел все его мельчайшие части, составившие эту минуту. Однако мне предстояла задача уложить в прошлое некую параллель. Физическое существо параллели выражалось жёлтым кожаным мешочком, который весил

на моей руке те же два фунта, как и какое-то время тому назад. Затем я осмотрел комнату с полной связью между отдельными моментами мелькнувших двух лет и историей каждого предмета, как она ввязывает свою петлю в кружево бытия. И я устал, потому что снова пережил прожитое, как бы небывшее.

— Саша! — Лиза стояла передо мной, протягивая пузырёк. — Это капли, прими двадцать пять капель. Прими…

Но следовало наконец дать движение и выход всему. Я посадил её рядом с собой, сказав:

— Слушай и думай. Я вышел сегодня утром не из этой комнаты. Я вышел из той комнаты, в которой жил до встречи с тобой в январе 1921 года.

Сказав так, я взял жёлтый мешочек и высыпал на колени жены сверкающие пиастры.

Изобразить наш разговор и наше волнение после такого доказательства истины может только повторение этого разговора при тех же условиях. Мы садились, вставали, садились опять и перебивали друг друга, пока я не рассказал случившегося со мной с начала до конца. Жена несколько раз вскрикивала:

— Ты бредишь! Ты пугаешь меня! И ты хочешь,

чтобы я поверила?

Тогда я указывал ей на золотые монеты.

— Да, правда, — говорила она, закруженная безвыходным положением рассудка так, что могла только сказать: — Фу! Если я ничего не пойму, я умру!

Наконец она стала спрашивать и переспрашивать в глубоком утомлении, почти механически, то смеясь, то падая головой на руки и обливаясь слезами. Я был спокойнее. Моё спокойствие постепенно передалось ей. Уже стало темнеть, когда она подняла голову с расстроенным и значительным видом, озарённым улыбкой.

— Ну, я просто дура! — сказала она, прерывисто вздыхая и начиная поправлять волосы, — признак конца душевной бури. — Очень понятно! Всё перевернулось и в перевернутии оказалось на своём месте!

Я подивился женской способности определять положение двумя словами и должен был согласиться, что точность её определения не оставляет желать ничего лучшего.

После этого она снова заплакала, и я спросил — почему?

— Но ведь тебя не было два года! — проговорила она с ужасом, сердито вертя пуговицу моего

жилета.

— Ты сама знаешь, что я не был дома тридцать минут.

— А всё-таки…

С этим я согласился, и, ещё немного поговорив, Лиза, как сражённая, уснула крепчайшим сном. Я вышел быстро и тихо — стремясь по следам жизни или видения? На это, ощупывая в жилетном кармане золотые кружки, я не мог и не могу дать положительного ответа.

Я достиг «Мадрида» почти бегом. В полупустом зале расхаживал Терпугов; увидев меня, он бросился ко мне, тряся мою руку с живостью хозяйственной и сердечной встречи.

— Вот и вы, — сказал он. — Присядьте, сейчас подадут. Ваня! Ихнего леща! Поди, спроси у Нефедина, готов ли?

Мы сели, стали говорить о разных вещах, и я сделал вид, что объяснять нечего. Всё было просто, как в обыкновенный день. Официант принёс кушанье, открыл бутылку мадеры. На тарелке шипел поджаренный лещ, и я убедился, что это та самая рыба, которую я дал Терпугову, так как запомнил сломанную поперёк жабру.

— Итак, — сказал я, не утерпев, — вы сдержали, Терпугов, своё слово, которое дали мне два года

назад!

Он хитро посмотрел на меня.

— Хе-хе! — сказал бывший повар. — О чём вспомнили! Мы с вами вчера встретились, и леща вы несли с рынка, а я был выпивши и пристал к вам, ну, скажу прямо, чтобы вас затащить!

Он был прав. Я вспомнил это теперь с досадной неуязвимостью факта. Но я был тоже прав, и о правоте своей, склоняясь к уху Терпугова, шепнул:

В равнине над морем зыбучим,
Снегом и зноем полна,
Во сне и в движенье текучем
Склоняется пальма-сосна.

— Хе-хе! — сказал он, наливая в стакан мадеру, — шутить изволите!

Был вечер. Моросил дождь.

Зелёная лампа

I

В Лондоне в 1920 году, зимой, на углу Пикадилли и одного переулка, остановились двое хорошо одетых людей среднего возраста. Они только что покинули дорогой ресторан. Там они ужинали, пили вино и шутили с артистками из Дрюриленского театра[27].

Теперь внимание их было привлечено лежащим без движения, плохо одетым человеком лет двадцати пяти, около которого начала собираться толпа.

— Стильтон! — брезгливо сказал толстый джентльмен высокому своему приятелю, видя, что тот нагнулся и всматривается в лежащего. — Честное слово, не стоит так много заниматься этой падалью. Он пьян или умер.

— Я голоден… и я жив, — пробормотал несчастный, приподнимаясь, чтобы взглянуть на Стильтона, который о чём-то задумался. — Это был обморок.

— Реймер! — сказал Стильтон. — Вот случай

---

[27] Notes: 27

Имеется в виду лондонский театр «Друри-Лейн», основанный в 1663 г. и действующий до сих пор.

проделать шутку. У меня явился интересный замысел. Мне надоели обычные развлечения, а хорошо шутить можно только одним способом: делать из людей игрушки.

Эти слова были сказаны тихо, так что лежавший, а теперь прислонившийся к ограде человек их не слышал.

Реймер, которому было всё равно, презрительно пожал плечами, простился с Стильтоном и уехал коротать ночь в свой клуб, а Стильтон, при одобрении толпы и при помощи полисмена, усадил беспризорного человека в кэб[28].

Экипаж направился к одному из трактиров Гай-стрита.

Бродягу звали Джон Ив. Он приехал в Лондон из Ирландии искать службу или работу. Ив был сирота, воспитанный в семье лесничего. Кроме начальной школы, он не получил никакого образования. Когда Иву было 15 лет, его воспитатель умер, взрослые дети лесничего уехали — кто в Америку, кто в Южный Уэльс, кто в Европу, и Ив некоторое время работал у одного фермера. Затем ему пришлось испытать труд углекопа, матроса, слуги в трактире, а 22-х лет он забо-

---

[28] Notes: 28
Кэб — английская наёмная конная повозка.

лел воспалением лёгких и, выйдя из больницы, решил попытать счастья в Лондоне. Но конкуренция и безработица скоро показали ему, что найти работу не так легко. Он ночевал в парках, на пристанях, изголодался, отощал и был, как мы видели, поднят Стильтоном, владельцем торговых складов в Сити.

Стильтон в 40 лет изведал всё, что может за деньги изведать холостой человек, не знающий забот о ночлеге и пище. Он владел состоянием в 20 миллионов фунтов.

То, что он придумал проделать с Ивом, было совершенной чепухой, но Стильтон очень гордился своей выдумкой, так как имел слабость считать себя человеком большого воображения и хитрой фантазии.

Когда Ив выпил вина, хорошо поел и рассказал Стильтону свою историю, Стильтон заявил:

— Я хочу сделать вам предложение, от которого у вас сразу блеснут глаза. Слушайте: я выдаю вам десять фунтов с условием, что вы завтра же наймёте комнату на одной из центральных улиц, во втором этаже, с окном на улицу. Каждый вечер, точно от пяти до двенадцати ночи, на подоконнике одного окна, всегда одного и того же, должна стоять зажжённая лампа, прикрытая

зелёным абажуром. Пока лампа горит назначенный ей срок, вы от пяти до двенадцати не будете выходить из дома, не будете никого принимать и ни с кем не будете говорить. Одним словом, работа нетрудная, и, если вы согласны так поступить, я буду ежемесячно присылать вам десять фунтов. Моего имени я вам не скажу.

— Если вы не шутите, — отвечал Ив, страшно изумлённый предложением, — то я согласен забыть даже собственное имя. Но скажите, пожалуйста, как долго будет длиться такое моё благоденствие?

— Это неизвестно. Может быть, год, может быть, — всю жизнь.

— Ещё лучше. Но — смею спросить — для чего понадобилась вам эта зелёная иллюминация?

— Тайна! — ответил Стильтон. — Великая тайна! Лампа будет служить сигналом для людей и дел, о которых вы никогда не узнаете ничего.

— Понимаю. То есть ничего не понимаю. Хорошо; гоните монету и знайте, что завтра же по сообщённому мною адресу Джон Ив будет освещать окно лампой!

Так состоялась странная сделка, после которой бродяга и миллионер расстались, вполне довольные друг другом.

Прощаясь, Стильтон сказал:

— Напишите до востребования так: «3–33–6». Ещё имейте в виду, что неизвестно когда, может быть, через месяц, может быть, через год, — словом, совершенно неожиданно, внезапно вас посетят люди, которые сделают вас состоятельным человеком. Почему это и как — я объяснить не имею права. Но это случится…

— Чёрт возьми! — пробормотал Ив, глядя вслед кэбу, увозившему Стильтона, и задумчиво вертя десятифунтовый билет. — Или этот человек сошёл с ума, или я счастливчик особенный! Наобещать такую кучу благодати только за то, что я сожгу в день пол-литра керосина!

Вечером следующего дня одно окно второго этажа мрачного дома № 52 по Ривер-стрит сияло мягким зелёным светом. Лампа была придвинута к самой раме.

Двое прохожих некоторое время смотрели на зелёное окно с противоположного дому тротуара; потом Стильтон сказал:

— Так вот, милейший Реймер, когда вам будет скучно, приходите сюда и улыбнитесь. Там, за окном, сидит дурак. Дурак, купленный дёшево, в рассрочку, надолго. Он сопьётся от скуки или сойдёт с ума… но будет ждать сам не зная

чего. Да вот и он!

Действительно, тёмная фигура, прислонясь лбом к стеклу, глядела в полутьму улицы, как бы спрашивая: «Кто там? Чего мне ждать? Кто придёт?»

— Однако вы тоже дурак, милейший, — сказал Реймер, ласково беря приятеля под руку и увлекая его к автомобилю. — Что весёлого в этой шутке?

— Игрушка… игрушка из живого человека, — сказал Стильтон, — самое сладкое кушанье!

II

В 1928 году больница для бедных, помещающаяся на одной из лондонских окраин, огласилась дикими воплями: кричал от страшной боли только что привезённый старик, грязный, скверно одетый человек с истощённым лицом. Он сломал ногу, оступившись на чёрной лестнице тёмного притона.

Пострадавшего отнесли в хирургическое отделение. Случай оказался серьёзным, так как сложный перелом кости вызвал разрыв сосудов.

По начавшемуся уже воспалительному процессу тканей хирург, осматривавший беднягу, заключил, что необходима операция. Она была тут же произведена, после чего ослабевшего старика положили на койку, и он скоро уснул, а проснувшись, увидел, что перед ним сидит тот самый хирург, который лишил его правой ноги.

— Так вот как пришлось нам встретиться! — сказал доктор, серьёзный, высокий человек с грустным взглядом. — Узнаёте ли вы меня, мистер Стильтон? Я — Джон Ив, которому вы поручили дежурить каждый день у горящей зелёной лампы. Я узнал вас с первого взгляда.

— Тысяча чертей! — пробормотал, вглядываясь, Стильтон. — Что произошло? Как же это так? Возможно ли это?

— Да. Расскажите, что так резко изменило ваш образ жизни?

— Я разорился… несколько крупных проигрышей… паника на бирже… Вот уже три года, как я стал нищим. А вы? Вы?

— Я несколько лет зажигал лампу, — улыбнулся Ив, — и вначале от скуки, а потом уже с увлечением начал читать всё, что мне попадалось под руку. Однажды я раскрыл старую анатомию, лежавшую на этажерке той комнаты, где я жил, и был поражён. Передо мной открылась увлекательная страна тайн человеческого организма. Как пьяный, я просидел всю ночь над этой книгой, а утром отправился в библиотеку и спросил: «Что надо изучить, чтобы сделаться доктором?» Ответ был насмешлив: «Изучите математику, геометрию, ботанику, зоологию, морфологию, биологию, фармакологию, латынь и т. д.». Но я упрямо допрашивал, и я всё записал для себя на память.

К тому времени я уже два года жёг зелёную лампу, а однажды, возвращаясь вечером (я не считал нужным, как сначала, безвыходно сидеть

дома 7 часов), увидел человека в цилиндре, который смотрел на моё зелёное окно не то с досадой, не то с презрением.

«Ив — классический дурак! — пробормотал тот человек, не замечая меня. — Он ждёт обещанных чудесных вещей… да, он хоть имеет надежды, а я… я почти разорён!» Это были вы. Вы прибавили: «Глупая шутка. Не стоило бросать денег».

У меня было куплено достаточно книг, чтобы учиться, учиться и учиться, несмотря ни на что. Я едва не ударил вас тогда же на улице, но вспомнил, что благодаря вашей издевательской щедрости могу стать образованным человеком…

— А дальше, что дальше? — тихо спросил Стильтон.

— Дальше? Хорошо. Если желание сильно, то исполнение не замедлит. В одной со мной квартире жил студент, который принял во мне участие и помог мне, года через полтора, сдать экзамены для поступления в медицинский колледж. Как видите, я оказался способным человеком…

Наступило молчание.

— Я давно не подходил к вашему окну, — произнёс потрясённый рассказом Ива Стильтон, — давно… очень давно. Но мне теперь кажется, что там всё ещё горит зелёная лампа… лампа, озаря-

ющая темноту ночи… Простите меня.

Ив вынул часы.

— Десять часов. Вам пора спать, — сказал он. — Вероятно, через три недели вы сможете покинуть больницу. Тогда позвоните мне — быть может, я дам вам работу в нашей амбулатории: записывать имена приходящих больных. А спускаясь по тёмной лестнице, зажигайте… хотя бы спичку.

Вклейка

Алые паруса











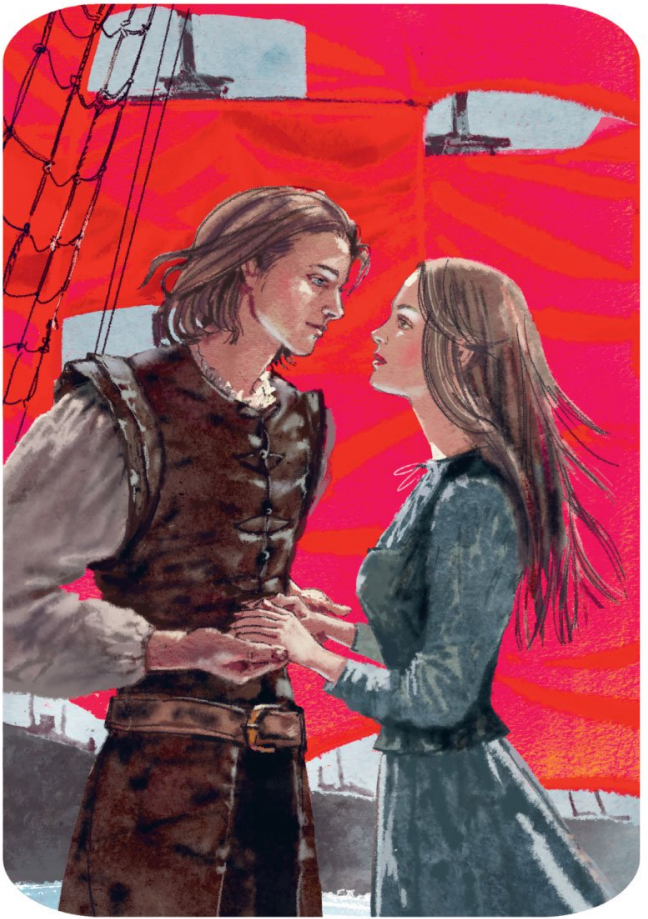






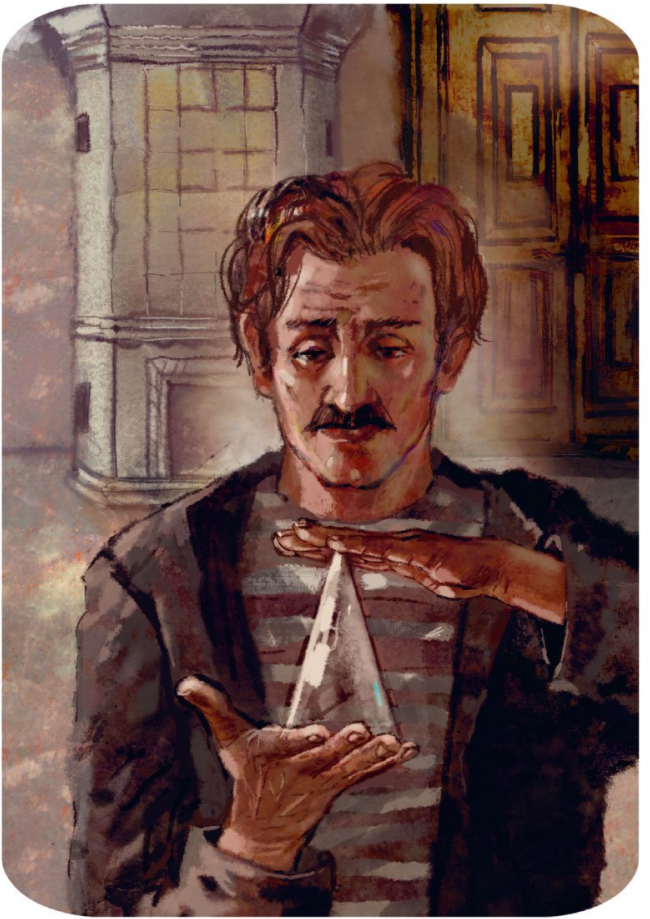






Фанданго







Зелёная лампа







Спасибо за выбор книг нашего издательства! Будем рады вашему отзыву.